Федор Абрамов

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ И ХЛЕБЕ ДУХОВНОМ

ФЕДОР АБРАМОВ

ПИСАТЕЛЬ — МОЛОДЕЖЬ — ЖИЗНЬ

ФЕДОР АБРАМОВ

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ И ХЛЕБЕ ДУХОВНОМ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

ББК 84Р7
А 16

В книге использованы архивные фотографии
Н. Карасева, Л. Крутиковой-Абрамовой, Р. Кучерова,
Ф. Лурье, Б. Рощина, О. Чистовского

Абрамов Ф. А.

А—16 О хлебе насущном и хлебе духовном /Сост. и автор предисловия Л. В. Крутикова. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 206[2] с., ил. — (Писатель — молодежь — жизнь).

ISBN 5-235-00111-7

Публицистические произведения известного советского писателя ставят острые вопросы современности, затрагивают насущные проблемы нравственности. В книгу вошли известные очерки, статьи, воспоминания писателя. Издание рассчитано на массового читателя.

А $\frac{4702010200—123}{078(02)—88}$ 142—88 **ББК 84Р7**

ISBN 5-235-00111-7

«ЧЕЛОВЕК СТРОИТ СЕБЯ САМ»

«Если есть такой писатель Федор Абрамов, то его главное кредо: будить, всеми силами будить в человеке человека». Так сам Абрамов определил целеустремленность своих книг. Он не уставал повторять, особенно в последнее десятилетие, как ненавистна ему позиция пассивных наблюдателей, пресловутое «мы ничего не решаем», «ничего не можем». «За этими словами, — говорил он, — скрывается трусость, равнодушие, лень».

Еще задолго до наших дней, до начала перестройки, до возрождения гласности и демократии, он бил в свой писательский колокол и взывал к народу, к совести каждого: будьте граждански активными, требовательными, рачительными хозяевами, инициативными тружениками, боритесь с несправедливостью, ложью, бесхозяйственностью.

В открытом письме землякам «Чем живем-кормимся», негодуя по поводу запущенности сенокосных угодий, скотных дворов, захламленности лесов, рек, деревенских улиц, всеобщего равнодушия, он на всю страну вопрошал не только земляков, но всех соотечественников: «Чувствуете ли вы свою ответственность за запущенное хозяйство? Всегда ли выполняете свои обязанности?.. Не превращаетесь ли — вольно или невольно — в нахлебников у государства?», «Не вытесняет ли порой трудника и рачительного хозяина равнодушный работяга, поденщик, калымщик?» И тут же устами самих земляков критиковал бездеятельность сельских депутатов: «Двадцать пять депутатов сельского Совета в Верколе! И опять пошучивают веркольцы: раньше в деревне один староста был, а порядка было больше. Так в чем же дело? Те ли это депутаты? Тем ли людям вы доверили устраивать свою жизнь? Ведь вы их избрали, ведь ваше право спросить с них». Написано это было в 1979 году, а звучит, будто сказано сегодня.

К сожалению, в те годы письмо Абрамова должного звучания и обсуждения не получило. «Некоторым товарищам показалось, что

у нас и так инициативы хоть через край, нечего о развитии народной инициативы беспокоиться», — с горечью замечал писатель. А сам продолжал ратовать за пробуждение гражданского самосознания, социального мышления. Споря с невидимыми противниками, доказывал: «Но разве плохо еще раз ударить в колокол? Всю жизнь мне противна позиция невмешательства, зрительство».

Он повторял свои заветные идеи в выступлениях на VI и VII съездах писателей СССР, в телестудии Останкино, в беседе с архангельской интеллигенцией, на многих читательских конференциях, в газетных и журнальных интервью. «Жизнь на местах — и это я готов твердить с утра до ночи — во многом зависит от нашей собственной активности». «До тех пор, пока мы сами, каждый рядовой человек не поймет, не установит для себя непреложным законом, что все дела — это мои дела и что большой наш дом строится только общими усилиями... до тех пор мы ничего не изменим».

Своим словом, своим поведением Абрамов предварял, подготавливал нынешние перемены. Об этом многие вспоминают. Но редко говорят о том, каким тернистым был его писательский путь, какие препятствия приходилось одолевать ему.

Это сегодня довольно легко писать и говорить о правде, о допущенных ошибках, о трагических событиях нашей истории. А тридцать, двадцать, десять лет назад требовалось немалое мужество.

Более тридцати лет назад, в 1954 году, молодым преподавателем Ленинградского университета написал он статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», впервые высказал открыто то, что думал о жизни и литературе, выступил против лакировочных произведений, ратовал за правду, прямую и нелицеприятную. И что же? Сразу попал в постановление, где его причислили к антипатриотам, назвали чуть ли не врагом колхозного строя. А сколько прорабатывали его на партийных собраниях — на факультетском, общеуниверситетском и даже на пленуме Ленинградского обкома партии. Было от чего прийти в отчаяние и опустить руки. Не будь фронтовой биографии (ополченец в боях за Ленинград, тяжелые ранения, блокадный госпиталь), мог Абрамов тогда и работы лишиться. Дело ограничилось партийными внушениями. Ему предлагали «каяться», признать статью ошибочной. Но он стоял на своем. Слишком хорошо знал он все тяготы и лишения, перенесенные русским крестьянством в тридцатые и сороковые годы. Сам голодал, сам помогал платить непомерные налоги брату-колхознику.

Через десять лет, в 1963 году, опубликовал он повесть «Вокруг да около», с еще большей озабоченностью поведал о русской деревне, о беззакониях, когда колхозники работали за пустопорожний трудодень.

И снова проработочный шквал обрушился на Абрамова: турист с тросточкой, очернитель, озлобленный клеветник, грубое искажение жизни, смакование недостатков... А в результате — на пять лет закрылись для него журналы и издательства. Пять лет не печатали ни одной строки. Пять лет — не пять дней, а почти 1900 дней. И каждодневно вставал вопрос: что делать, как жить, о чем писать?

Что же помогло Абрамову выстоять, не сломаться, найти силы для дальнейшей работы? Уверенность в своей правоте, уверенность в том, что жизнь страны и деревни нуждается в коренных изменениях, а главное — повышенное чувство долга перед военным и предвоенным поколением, работавшим и воевавшим на совесть, а живущим все еще впроголодь, неустроенно. Он черпал силы в чувстве исполняемого долга и любви — любви к народу, Родине, погибшим на войне товарищам. «Они и мертвые помогают мне жить», — говорил он.

Помогали стойкость и книги рядом идущих писателей. В. Овечкин, П. Нилин, А. Твардовский, А. Яшин, В. Тендряков, Ю. Трифонов, В. Шукшин, В. Солоухин, В. Белов столь же смело отстаивали справедливость.

А читательские письма-отклики! Сколько в них было благодарности за смелость, мужество, правду! «В самую трудную, в самую сложную минуту наш читатель всех возрастов, разных профессий подавал мне руку помощи», — вспоминал с благодарностью Абрамов.

Почти все книги писателя встречались поначалу разносной и предвзятой критикой. «Меня били! Крепко били! Но те произведения, за которые меня били, — проходили годы, проходило время — и их причисляли к положительным явлениям советской литературы».

В конце концов справедливость торжествовала. А в упорном отстаивании своей позиции, своей правоты мужал талант и характер писателя.

Недаром именно на 1970-е годы падает расцвет его публицистики. Выйдя победителем из многолетних столкновений с цензурой, чиновниками, приспособленцами, преодолевая сомнения и разочарования, честолюбивые мечты и порывы, он обрел то второе дыхание, то устремление в вечность, которые придавали особую весомость его слову.

«О хлебе насущном и хлебе духовном», «Слово в ядерный век», «Чем живем-кормимся», выступление в Останкине, речь на шестидесятилетии, заметки о писателях — лаконичные, но емкие произведения. В них голос Абрамова-публициста звучит поистине с проповеднической силой.

Копившаяся годами боль за все непорядки и беззакония, чувство обостренной личной ответственности заставляли Абрамова размышлять о путях оздоровления общества, искать ответы на многие запутанные проблемы времени.

Искания эти были долгими, мучительными. То была тяжелейшая работа души и ума. Бессонные ночи, приступы гнева и отчаяния, душевные страдания, доводившие до болезни, когда казались бессмысленными жизнь и работа, когда казалось: нет выхода из тупика. Эта скрытая душевная работа писателя еще малоизвестна.

Он страдал от того, что престарелые колхозницы, всю жизнь кормившие страну, работавшие от зари до зари, получают мизерную пенсию — двадцать рублей.

Он страдал от того, что крестьяне долго жили без паспортов и не могли свободно передвигаться по стране.

Он страдал, что нынешнее поколение, живущее в достатке, перестало любить землю, животных, очерствело и нравственно задичало.

Он негодовал, что нещадно вырубается русский лес, и не раз повторял, что скоро вся страна будет дрожать на сквозняке ледяных ветров от Арктики до Черного моря

Он, как и многие писатели-«деревенщики», был удручен исчезновением малых, так называемых «неперспективных» деревень, запущенностью земель коренной России.

Он негодовал по поводу чудовищно нелепых кампаний, совершавшихся в сельском хозяйстве. «На что только не делалось ставки: на торфоперегнойные горшочки, на агрогорода, на реорганизацию управления, на распашку лугов, на кукурузу». Его приводило в бешенство поголовное головотяпство, когда по велению одного человека начали на лучших землях сажать кукурузу — повсюду, вплоть до Полярного круга, где она и поспеть не успевала.

Горестные, надрывающие душу размышления о жизни, о России, о народе не покидали его десятилетиями.

«Россия — целина... Поездки в деревню комсомольцев — подвиг. Да что это такое? Может, я уже с ума схожу?»

«Что все-таки у нас делается? Куда идем? Полна деревня народу... и полно пьяных... а на лугу никого. И ни у кого не болит сердце».

«Пассивность и равнодушие. Десятилетиями насаждались в народе. Не смей думать, живи по приказу. Никакой инициативы. Выключи мозги. И вот плоды. Сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существования страны».

«Дико, дико: хлеб не нужен ни людям земли, ни людям власти... Ужас! Люди проклинают урожай — вот до чего мы дожили».

«Нельзя больше мириться с тем, что мы из года в год ввозим из-за океана хлеб».

«Чиновники пожирают, как саранча, Пинегу, а значит, и Россию... Чиновники все пожирают и ни за что не отвечают».

Подобными записями-размышлениями, записями-негодованиями пестрят его дневники, наброски к незавершенным рассказам, статьям, очеркам.

Больше всего его мучил вопрос: как, почему могли происходить все эти нелепицы?

«Как могло случиться, что вслед за одним культом у нас вырос другой культ...», «как могло случиться, что мы, советские люди, способные на любой героизм, оказались трусами и обывателями, когда на наших глазах убивали героев революции?», «как мог это допустить народ — хозяин страны?». Как могла годами разбойничать лысенковщина в биологической науке? Как могли быть отлучены от литературы талантливейшие писатели? Почему свирепствовала цензура? Целый лес «почему» возникал не только перед героями романа «Дом», но и перед автором. Почему... почему... почему... Не годами — десятилетиями мучился он над ними.

Помню, как часто мы вместе недоумевали: почему на войне люди стояли насмерть, проявляли невиданный героизм, а в мирные годы трусили, пасовали, склоняли головы перед чиновниками и бюрократами? Вспоминая рассказ Короленко «Река играет», Абрамов с горечью рассуждал: «Неужели мы годимся только на час? Герои на час? Неужели это проклятье сидит в нашей крови?»

Но проходили минуты отчаяния, и он снова вдумывался, вглядывался в происходящее, искал способ, как «вывести страну из запустения, покончить с одичанием земли и людей».

«Да где же выход? Пока народ не возьмется за свои дела сам — ничего не будет».

«Что делать? Есть единственный способ решения вечной русской болезни — гласность, открытое, свободное обсуждение всех наболевших вопросов».

Выступая в телестудии Останкино, Абрамов перечислил многие проблемы, требующие безотлагательного решения, — проблемы глобальные, общечеловеческие и наши внутренние, сегодняшние. Проблемы войны и мира, народонаселения, питания, питьевой воды, распределения материальных благ. Он выразил согласие с президентом Римского клуба Аурелио Печчеи, который в книге «Человеческие качества» назвал насущной потребностью нашего времени «необходимость установления минимума и максимума потребления», необ-

ходимость «ликвидировать тот чудовищный разрыв, который существует между отдельными людьми, отдельными группами, сословиями и классами в обладании материальными богатствами».

Среди внутренних проблем Абрамов выделил прежде всего задачу возрождения Нечерноземья, то есть коренной России, «откуда пошло наше великое государство». Дороги, земля, жилье, русский лес, русские реки, чистота вод, забота о животных и даже вопрос о тишине, школа, учителя, беда полуобразованности, опасность технизации и машинизации, застой в экономике, пьянство как национальное бедствие и нравственные болезни — равнодушие, пассивность, скептицизм, эгоцентризм, вещизм, жестокость, словом, усыхание сердца...

Он хотел даже написать статью «Так что же нам делать?». Не успел. Но в многочисленных статьях, заметках, выступлениях сохранились его размышления, догадки и предложения о способах лечения затянувшейся болезни общества.

«Наиглавнейшая, общегосударственная задача сегодня, — говорил он еще в 1980 году, — активизировать тех, кто погружен в болото равнодушия, безразличия и неверия в свои силы». А для того потребно возродить силу полновесного правдивого слова, потребно говорить всю правду о прошлом и настоящем, отмечать недостатки не только начальства, но и подчиненных, самого народа. «Правда... только вооружает человека.. Правда всегда нравственна».

Абрамов понимал, что «сегодня, когда так обострились в мире национальные проблемы, необходимо поглубже взглянуть на народ, всерьез разобраться в том, что же такое народ и национальный характер. Только ли великое и доброе заключено в нем?». Он предлагал трезво смотреть на народ. «Я не стою коленопреклоненно перед народом, перед так называемым «простым народом». Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое».

«Кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес — важнейшее зло. Оно усыпляет народ, разлагает его... Культ, какую бы форму он ни принял, — всегда опасен для народа». Это говорил Абрамов, создавший вдохновенные страницы о подвиге и мужестве народа, выстоявшего в войну и послевоенное лихолетье.

Больше всего Абрамова-мыслителя настораживали всякая односторонность, крайности в толковании истории нашего государства и в изображении человека. Он учил видеть историю и личность во всей сложности и противоречивости.

«У нас были просчеты, были жертвы, жертвы неоправданные, напрасные жертвы, но были и великолепные порывы, были взлеты. И хотя мое поколение и со мной рядом стоящее, идущее с моим поколением ходили часто в одних штанах, в одной рубахе, но они

были великаны духа». Однако и свое поколение не идеализировал Абрамов. Он видел в нем редкую самоотверженность «в труде, в учебе, в боях за Отечество». Вместе с тем он считал, что романтикам-идеалистам часто не хватало мудрого и трезво-практического понимания хода жизни, повседневного бытия.

Абрамов затронул очень важный и мало разработанный наукой и искусством вопрос о многогранности, разнообразии русского характера и одновременно о его «невыделанности». В русском национальном характере его привлекали великие достоинства и настораживали недостатки: долготерпение, перерастающее в рабскую покорность, нравственный максимализм, мешающий заниматься конкретными повседневными делами, будничной работой.

Социально-философски осмыслял писатель достижения и пагубность НТР. Он предостерегал современников и потомков об опасности полной механизации и машинизации в эпоху НТР. «Исчезновение связей, утрата связей человека с животными, с землей, с природой, она может обернуться очень серьезными последствиями» Полная машинизация может оказаться пагубной для человеческой природы. «Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность, строится человечность в человеке».

В последние годы он много думал о нравственном оздоровлении общества и человека, о нерасторжимости проблем нравственных и социальных.

Он хорошо понимал, что страна нуждается не только в социально-экономических реформах, но и в нравственном очищении людей. Он был убежден: «Социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов». «Мы много говорим о сохранении природной среды, памятников материальной культуры. Не пора ли с такой же энергией и напором, — взывал он еще в 1976 году, — оставить вопрос о сохранности и защите непреходящих ценностей духовной культуры, накопленных вековым народным опытом?»

Чуть ли не первый в советской литературе он возвысил голос в защиту великого учения Л. Толстого о нравственном самосовершенствовании, о нравственном самовоспитании каждого человека.

С присущим ему азартом Абрамов страстно проповедовал идею нравственной активности, каждодневной душевной работы, духовного самоочищения и самосозидания. На всю страну сказал он в Останкине: «Что я понимаю под душевной работой каждого? Это самовоспитание, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести. Совесть это как раз та сила, которая помогает сдирать с человека коросту эгоцентриз-

ма, коросту всякой затхлости. Это та сила, которая выводит человека на пути широкого братства, требовательности к себе и людям».

«Человек многое может», — веровал Абрамов и своими романами, повестями, рассказами, публицистикой высветлял те человеческие маяки, которые в самые трагические годы нашей истории светили людям, оставались верными долгу, совести, справедливости Таковы любимые герои его книг — Михаил и Лиза Пряслины, старая Милентьевна («Деревянные кони»), Сила Иванович, сорок лет в одиночку осушавший болото («Сказание о великом коммунаре»).

Особенно ценил писатель тех подвижников духа, которые в самые трудные времена не утратили высшие человеческие качества: доброту, человечность, милосердие, сострадание, бескорыстие, способность прийти на помощь ближнему. Прочтите рассказ «Слон голубоглазый» — апофеоз простой женщине. Она не совершила никаких необычных поступков, не занимала никаких постов и ответственных должностей, выполняла самую заурядную работу. Но силой духа, силой любви и доброты она встает вровень с любыми героями, с любыми выдающимися людьми, ибо она каждодневно творила добро, она обладала высшим даром — даром человечности и любви.

О подлинных подвижниках духа рассказал писатель в воспоминаниях о тетушке Ирнньe, учителе Калинцеве, музыковеде Н. Когиковой. Он восхищался людьми, которые силой духа побеждали трудности, трагедии, невзгоды, сами созидали свою личность, творческую, деятельную свободную, мужественную. Среди них были выдающиеся ученые и деятели культуры, учителя и рядовые труженики. Федор Александрович мечтал создать серию литературных портретов. Успел написать только об А. Яшине и В. Белове. Но и оставшиеся заметки об А. Т. Твардовском, О. Берггольц, Н. Я. Берковском, М. С. Шагинян, о Д. С. Лихачеве, К. П. Гемп, плотнике Н. С. Минине. земляке-друге М. Щербакове дают представление о тех человеческих качествах, которые помогают человеку стать человеком.

Путь человека к самораскрытию, к духовному восхождению тернист, каменист, труден, ибо человек по природе своей противоречив, сложен. Немало вреда социально-нравственному воспитанию личности нанесла надуманная теория, будто любой человек может заняться любым делом. А сколько вреда нанес призыв «ударников» в литературу, в науку. Сколько вреда нанес анкетный способ подбора кадров.

Федор Абрамов не раз сетовал: «природа человека у нас еще очень мало изучена», «менее всего наукой изучен и понят человек». «Мы говорим: человек звучит гордо, нет ничего прекраснее, царь

природы — все это верно. Но ведь и нет в живом мире таких падений глубоких, кои наблюдаются среди людей».

В последние годы он все чаще и чаще задумывался о сложной природе человека, в том числе и самого себя. Самонаблюдение и самопроверка, самоанализ и пересмотр ошибочных воззрений, несправедливых оценок людей, явлений, событий — все это становилось неотъемлемой частью его духовной жизни.

Все больше и больше размышлял он над коренными и вечными вопросами бытия, о смысле жизни, о духовных ценностях, о путях развития истории, народа, личности. Он хотел понять, «что происходит с человеком на протяжении длительного исторического периода? Как меняются жизненные ценности для человека? Все ли довольны одним тем, что сыты, одеты? Как возникает тоска по духовным ценностям?»

В заключительном слове на своем шестидесятилетнем юбилее он многое сказал и о себе, и о времени, и о нерешенных назревших проблемах. Он назвал тех, кто помогал ему строить себя, сказал, как в преодолении невзгод мужал его талант. Он подвел итоги прожитой жизни, сформулировал главную суть обретенной им веры

«К чему же я все-таки пришел к своему шестидесятилетию? Чему я поклоняюсь? Что я исповедую? Какая моя вера? Что больше я ценю в своей жизни? И от чего получал радости больше всего?..

Работа! Работа! Каждая хорошо написанная строчка, каждый хорошо написанный абзац, страница — это самое большое счастье, это самое большое здоровье, это самый лучший отдых для души, для ума, для сердца... Работа — это, вероятно, самая высокая любовь, любовь к своей семье, любовь к своему дому, любовь к Родине. любовь к народу».

Превыше всего и в людях Абрамов ценил умение вдохновенно работать везде — в литературе, в науке, в поле, на стройке. Он негодовал и печалился, что исчезает в деревне «былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную... животину», что «выветрнвается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе».

Он был убежден: пора воздать должное теории «малых дел», пора «подумать о значении так называемых малых дел, которые, складываясь, составят большое». Предваряя сегодняшние перемены, он говорил «о каждодневном совестливом исполнении каждым гражданином его конкретной работы, без чего, — подчеркивал Абрамов, — неосуществимы никакие грандиозные планы и программы». Он не уставал повторять, что без пробуждения совести, духовной и гражданской активности, без сотворения нового человека невозможно возрождение страны. «Нельзя заново возделать русское

поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации», — говорил он на VI съезде писателей СССР.

«Любое дело начинается с человека и кончается им». Потому созидание души человеческой, укоренение таких древних, но вечно животворных качеств, «как совесть, доброта, сочувствие, милосердие, жалость», должны стать первоочередной задачей общества и самовоспитания каждого человека.

Окружение, среда, общество, социальные условия, учителя, природа, книги, искусство — все влияет на формирование личности. Но решающая роль в сотворении личности принадлежит самому человеку. Это доказал Федор Абрамов своей судьбой, своими книгами.

Л. КРУТИКОВА

I

~~С~~ Главное правило,
~~[illegible]~~ от которого зависит
решение всех других
правил, это
правило <u>равновесия</u> и
<u>последовательности</u> курса.
Которое гарантирует, чтобы
ум не подчинялся <u>без</u>
воли. Как сердце, и
мысль.

И второе правило
древнего ~~мира~~ <u>желания</u>
сохранение человека,
ребёнка внутри,
~~[illegible]~~ желание быть
подобием всемогущего Властителя
и Творца.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ И ХЛЕБЕ ДУХОВНОМ

Выступление на VI съезде писателей СССР

За эти дни и на пленарных заседаниях, и на заседаниях комиссий уже о многом и о многом говорили, о многом шла речь. Мне хочется поговорить о русской советской литературе, связанной с землей, с деревней, с крестьянством. Поговорить о хлебе насущном и хлебе духовном, о том круге вопросов, которые так волнуют сегодня советских людей и которые, на мой взгляд, не нашли покамест должного освещения в выступлениях делегатов.

Общеизвестно, что так называемая деревенская проза — не буду говорить сейчас о всей условности и несостоятельности этого термина — давно уже вышла на передовые рубежи нашей литературы. Я бы сказал больше: она во многом определяет лицо современной литературы. Достаточно назвать хотя бы имена таких писателей, которых в свое время так или иначе напутствовал наш незабвенный Александр Трифонович Твардовский: Валентин Овечкин и Александр Яшин, Гавриил Троепольский и Владимир Тендряков, Сергей Залыгин и Ефим Дорош, Владимир Солоухин и Виктор Астафьев, Борис Можаев и Евгений Носов, Василий Белов и Василий Шукшин, Валентин Распутин... Разве не вокруг произведений этих писателей многие годы закипали литературные и общественные споры и диспуты? Разве не они прежде всего определяли читательский успех таких журналов, как «Новый мир», «Север», «Наш современник»?

Наша критика не обошла вниманием «деревенщиков» (и так называют этих писателей). О каждом из них написано немало толковых статей и рецензий. Но странная вещь: как только заходит речь о деревенской прозе в целом, так у иных критиков начинается одышка, пропадает масштабность оценок, разговор низводится до узко понятых деревенских проблем, а кое-кто просто теряется, озабоченно поглядывает по сторонам: да что же это у нас делается-то? На дворе научно-техническая революция, эпоха спутников, а наши писатели

(и при этом числящиеся в известных) безнадежно завязли на деревенских проселках. Где же авангардная роль литературы? И вот уже раздаются голоса: деревенская проза переживает кризис, мода на деревенскую прозу, слава богу, проходит...

Настораживает кое-кого и герой деревенской прозы. Кто не знает, что заглавная фигура сегодняшней колхозной и совхозной деревни — молодой механизатор, человек технически грамотный, чуть ли не с пеленок повенчанный с техникой! А в прозе?

Виктор Астафьев отбивает земные поклоны своей давно умершей бабушке, ею переполнено его писательское сердце, вокруг умирающей старухи кружит и хлопочет Валентин Распутин. Да и знаменитый Иван Африканович Василия Белова — разве, следуя нашим расхожим представлениям, назовешь его передовым? А вот молодой архангельский писатель Владимир Личутин. Уж кому-кому, а ему-то, казалось бы, по возрасту положено быть певцом сельской молодежи. А нет, и он покамест больше пасется подле стариков и старушонок, клонит свое ухо к их негромкому стариковскому слову.

Так что же это? Может быть, наша литература, мягко говоря, шагает не совсем в ногу с временем? Может, она отстает, страдает провинциализмом? Или, выражаясь на языке так называемых современных интеллектуалов, недостаточно интеллектуальна?

Конечно, в произведениях «деревенщиков», как, впрочем, в произведениях и других писателей, можно найти огрехи. Мелкотемье, самодовлеющий бытовизм, налет псевдонародности и пейзанства, отсутствие больших обобщающих мыслей, робость перед анализом социально-исторических процессов... Все это в той или иной мере встречается. Да и как иначе? Большая литература — литература разных направлений, разных дарований.

Но вот насчет моды... Нет, извините. Этак ведь, чего доброго, можно договориться до того, что и тема России в литературе имеет характер моды.

Нет, нет, дело обстоит как раз наоборот.

Нынешний расцвет деревенской прозы, выход ее на передний план — это показатель зрелости нашей литературы, зрелости гражданской и духовной, свидетельство понимания ею самых глубинных и самых важных процессов современности, способность подняться до са-

мых высоких общенациональных и общечеловеческих проблем.

Не буду говорить о таких известных вещах, как традиционность крестьянской темы для нашей литературы, о том, что вся русская литература испокон века жила и мучилась крестьянским вопросом и что в деревне и поныне живут миллионы и миллионы; не буду распространяться и о том, что деревня — это проблема хлеба насущного и что подъем сельского хозяйства — задача общегосударственная, общенародная, давно уже ставшая первоочередным делом всей нашей жизни, и это хорошо известно.

Но давайте взглянем на деревенскую прозу с высоты вавилонской башни века, этой самой НТР, этих трех магических, гипнотизирующих букв, которые сегодня и по делу, и без дела произносятся на каждом шагу.

В деревне сегодня в результате небывалого вторжения техники и науки происходит поистине небывалая, ни с чем не сравнимая революция. Речь идет не просто о коренной перестройке сельского производства, всего уклада деревенской жизни. Речь идет об изменении русской географии, об изменении лика русской земли.

Я вот ехал недавно из Новгорода в Питер. Небывальщина! Степь залетела в Ленинградскую область — такое пашенное раздолье по обе стороны шоссе. Это на месте-то недавних кустарников и болот. И подобные изменения в русском пейзаже сегодня можно наблюдать и в других наших областях. И даже на моей далекой-далекой Пинеге.

Но, конечно, это только начало. Предстоит в полном смысле заново сотворить русское поле, построить такие селения, где бы зеленая радость деревенского существования была дополнена всеми благами современного города. А это задача гигантская. Задача, прямо скажем, библейских масштабов, от решения которой зависит наше будущее. Процесс великого созидания и великой ломки.

Короче, старая деревня с ее тысячелетней историей уходит сегодня в небытие.

А что это значит — уходит старая деревня в небытие? А это значит — рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура: ее этика и эстетика, ее фольклор и литература, ее чудо-язык. Ибо, перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни. Деревня — наши истоки, наши

корни. Деревня — материнское лоно, где зарождался и складывался наш национальный характер.

И вот сегодня, когда старая деревня доживает свои последние дни, мы с особым, обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок.

Ох, немного выпало на их долю добрых слов!

В чаянии нового прекрасного человека, в жадном порыве к новой обетованной земле социализма мы частенько смотрели на них свысока, как на неполноценную породу людей, как на «полу-полу», как на людей, погрязших в собственничестве и разного рода пережитках. А между тем на них, на плечах этих безымянных тружеников и воинов, стоит здание всей нашей сегодняшней жизни.

Вспомним, к примеру, только один подвиг русской бабы в минувшей войне. При этом я ни на минуту не забываю о подвижничестве женщин других народов нашей великой страны. Но говорю о русской бабе, потому что о русской прозе веду речь. Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в сорок первом году открыла второй фронт, тот фронт, которого так жаждала Советская Армия. А как, какой мерой, каким мерилом измерить подвиг все той же русской бабы в послевоенную пору, в те времена, когда она, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей!

Так что же удивительного, что старая крестьянка в нашей литературе на время потеснила, а порой и заслонила собой других персонажей? Нет, не идеализация этой патриархальщины, не пресловутая тоска по уходящей избяной Руси, как иной раз с такой бездумной легкостью и даже высокомерием вещают некоторые критики и даже некоторые писатели, а наша сыновняя, хотя и запоздалая благодарность.

Вместе с тем большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколений — это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний.

Да, темные и малограмотные, да, наивные и чересчур доверчивые, да, порой граждански невоспитанные,

но какие душевные россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть и чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле и ко всему живому — да всего не перечислишь. К сожалению, современный молодой человек, взращенный в иных, более благоприятных, а порой просто тепличных условиях, не всегда наследует эти жизненно важные качества.

Нет, нет, я не хочу бросить тень на нашу молодежь. За нее говорят ее дела: целина, гиганты-новостройки, БАМ. И все-таки, все-таки... разве не встречаемся мы в ее среде с возросшим эгоцентризмом и индивидуализмом, с иждивенческими и потребительскими настроениями, с утратой бережного и любовного отношения к земле, к природе, с холодным рационализмом?

И одна из главнейших задач современной литературы — предостеречь молодежь от опасности душевного очерствения, помочь ей усвоить и обогатить духовный багаж, накопленный предшествующими поколениями. И это вопрос не узко моралистический, не отвлеченный. Это вопрос вопросов всего нашего бытия. И в него, в этот вопрос, в конечном счете упирается подъем русского Нечерноземья, реализация тех грандиозных планов преобразования русской деревни, которые намечены в известных постановлениях партии и правительства.

В последнее время мы много говорим о сохранении природной среды, памятников материальной культуры. Не пора ли с такой же энергией и напором ставить вопрос о сохранности и защите непреходящих ценностей духовной культуры, накопленных вековым народным опытом?

Тревога по этому поводу прозвучала уже в ряде выступлений на нашем съезде, и это понятно, потому что духовные потери чреваты, быть может, еще большими последствиями, чем разрушение природы, хищническое истребление лесов и обмеление рек. Да, да, все в конечном счете зависит от того, какой человек будет работать и управлять землей. Не работяга с куриным оглядом, не перекати-поле, которые сегодня косяками кочуют по нашим градам и весям, не бюрократ-чиновник, слепо исполняющий приказы и директивы, — не им вершить нынешние дела. Не им претворять в жизнь великие задачи эпохи.

Время властно требует другого человека, человека-хозяина, человека с развитым самосознанием, обострен-

ной гражданской совестью, с широким историческим кругозором, способного не только мыслить по-государственному, по-хозяйски, но и отвечать за все происходящее в стране, то есть поступать по-хозяйски, поступать по-государственному, соответственно своим убеждениям, велениям совести.

Словом, нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации.

И тут — хочется еще раз подчеркнуть — огромная роль принадлежит литературе, правдивому и вдохновляющему слову. Слову, которое зовет к утверждению истины, добра и справедливости на земле!

1976

СЛОВО В ЯДЕРНЫЙ ВЕК

Выступление на VII съезде писателей СССР

Еще совсем недавно, каких-то тридцать лет назад, нам, участникам великой битвы с фашизмом, яростным романтикам и мечтателям, казалось, что мы навсегда покончили с самым страшным злом человечества — войной и что отныне на нашей планете наконец-то наступит вожделенная эра гуманизма, здравого смысла и взаимопонимания.

Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться.

Небывалая гонка вооружений, все новые и новые военные очаги, которые то тут, то там сотрясают земной шар, всевозможная политическая и духовная демагогия, затемняющая и растлевающая умы людей... Да надо ли перечислять все то, что хорошо известно каждому? Надо ли подробно распространяться о болезнях века, которые способны привести в отчаяние самого убежденного оптимиста? Мы живем в такое время, в такую эпоху, когда могут сбыться самые мрачные библейские пророчества, и потому сегодня нет важнее дела, чем объединение всех гуманных, всех духовно активных и миролюбивых сил Земли, о чем с такой озабоченностью говорилось в недавнем Обращении Верховного Совета СССР к парламентам и народам мира. И потому сегодня особое, воистину историческое значение приобретает разговор о литературе, о духовной и нравственной силе сло-

ва — этого главного оружия человека даже в наш ядерный век.

О достижениях советской многонациональной литературы с этой трибуны говорилось уже немало, и не лучше ли, не полезнее ли для дела поговорить о том, что мешает, а порой и ослабляет наше слово.

Всем хорошо известно, что у нас, как ни в одной другой стране, издается великое множество книг, что у нас самый читающий народ в мире. Но только ли радость вызывает книжный бум, который мы сегодня переживаем? В мире вещей вкус наших людей явно возрос, сегодня никто уже не хочет покупать плохих, некрасивых вещей, того унылого ширпотреба, которым завалены наши прилавки. А плохие книги, литературный ширпотреб? Не говорит ли переизбыток их о нетребовательности, о полуобразованности и эстетической глухоте некоторых издателей, критиков и читателей? Хорошая, талантливая книга, хороший, талантливый спектакль — и это старая истина — редкость. Но всегда ли мы должным образом оцениваем их, всегда ли получает о них должную информацию самый широкий, массовый читатель и зритель? Не разучились ли наша пресса и наши критики воспринимать подлинное искусство как большой праздник, как большое событие в духовной жизни общества? Стало обычным, когда в литературных докладах, статьях, отчетах в один перечислительный ряд попадают и выдающиеся произведения, и произведения-середняки, а то и просто однодневки. Происходит нивелировка, уравниловка, лучшее тонет, растворяется в потоке серости. И надо ли говорить, что это запутывает и даже оглупляет читателя?

Виктор Курочкин. Кто не знает его повести «На войне как на войне», одного из самых блистательных произведений о минувшей войне? А недавно захожу в книжный магазин в одном маленьком городке — и целая полка книг с этой повестью, которую бы с радостью приобрел знающий читатель.

Много хорошего сделала «Роман-газета», самое массовое наше литературное издание, много выпустила первоклассных книг. И в то же время та же самая «Роман-газета» сколько гонит всякой многоверстной макулатуры и серятины, которые на местах нередко принимают чуть ли не за советскую классику! На страницах «Роман-газеты» не нашлось, к нашему стыду, места для «Привычного дела» и «Плотницких рассказов» Василия

Белова, этих несравненных жемчужин отечественной литературы.

Величайшее завоевание революционно-демократической критики — реальная критика, выверка литературы жизнью. Из обычных, примелькавшихся явлений жизни, изображенных в книге, они умели извлечь такую социальную суть, сделать такие столь далеко идущие выводы, что произведение получало новую жизнь, включалось в контекст самых жгучих, самых актуальных проблем современности. «Ася» Тургенева. Банальная любовная история. А что вычитал из нее Чернышевский? Приговор либеральному деятелю своего времени, тьму проблем и вопросов, касающихся русского национального характера.

Понимаю, мы живем в другие времена. И все же, где у нас реальная критика? Ведь не считать же за образчик оной недавнюю дискуссию на страницах «Литературной газеты» о так называемой деревенской прозе, некоторые из участников которой, похоже, в глаза не видали живой современной деревни, а некоторые, может, и с асфальта-то на голую землю никогда не ступали. А ведь судят, да еще как громогласно!

Сегодняшний читатель жадно тянется к книге, ищет в ней ответы на самые важные, самые больные и трудные вопросы современности. Но всегда ли мы, писатели, даем на них ответ, вкладываем в протянутую руку полноценный хлеб? Всегда ли мы сами на высоте глобальных задач века? И не потому ли люди все больше и больше тянутся к разного рода транквилизаторам и допингам, что не находят духовной поддержки, духовного очищения в слове? Не потому ли такую власть обрели над людьми вещи? Не потому ли и саму-то книгу подчас превращают в окаменелую вещь престижно-декоративного назначения, в предмет купли и продажи?

За последние годы в литературе нашей сильно повысился интерес к нравственным проблемам, к духовному миру человека с его такими древними, но вечно живыми понятиями, как совесть, доброта, сочувствие, сострадание, милосердие, жалость. И это не случайно, так как все эти понятия долгое время у нас, мягко говоря, были не в почете, нередко зачислялись по департаменту патриархальщины, а то и вовсе третировались.

Но та же совесть, та же доброта, то же сострадание и безмерная любовь к ближнему — разве все это не духовная основа каждого народа, каждой нации?

Да, поворот литературы к вопросам нравственности, души можно лишь приветствовать, тем более что исторический опыт показал, что перестройка, обновление жизни только социальными средствами, не подкрепленными нравственной, душевной работой каждого человека, не могут дать желаемых результатов. Но вот беда наша — очередная крайность: нравственное начинает теснить социальное, гражданское, принимает самодовлеющий характер, а порой даже превращается в моду. Больше того, послушать иных умников, так социальное, гражданское чуть ли не пройденный этап, а, скажем, такая штука, как политика, так и вовсе признак примитивности, безвкусицы.

Величайшее заблуждение!

Нравственность вне социального, гражданского, вне насущных проблем жизни, которыми живет страна, народ, партия, нравственность, наконец, вне политики, которая стала одной из самых главных сфер бытия человека двадцатого века, такая нравственность — пустая, безнравственная болтовня.

В иных романах, повестях, пьесах герои часами ведут так называемые высокоинтеллектуальные, высоконравственные, высокофилософские разговоры о творчестве, о смысле человеческой жизни, о необыкновенной любви и при этом не очень внятно, стыдливо — о сегодняшнем дне, о действительных болях и заботах, которыми живет страна, народ. Да ведь это душевный стриптиз, игра! Игра в нравственность, игра в интеллектуализм, игра в философствование. Короче — непозволительная спекуляция на самом святом и важном. И пора. давно пора повести решительную борьбу с инфляцией, с обесцениванием высоких понятий, вернуть им подлинный смысл и весомость.

В вопросах нравственности нам не мешает почаще вспоминать уроки Льва Толстого, который всю свою жизнь страстно, неистово и непримиримо воевал за нравственную активность человека. Великий писатель всегда, в пору самой мрачной реакции вел непрекращающийся поединок с деспотизмом, с самодержавием. Достаточно вспомнить его знаменитую статью «Не могу молчать».

Нравственная активность человека, способность быть верным голосу совести и справедливости — не в этом ли подлинный героизм? Героизм непоказной, некрикливый, который еще мало понят и оценен нами.

В нашей литературе и критике обычно преобладает одностороннее и потому упрощенное понимание героического, когда героя наделяют чуть ли не всеми возможными и невозможными добродетелями и даже сверхчеловеческими качествами и тем самым умаляют, недооценивают противника, а нередко и оглупляют его, — словом, умаляют трудности и сложности, которые преодолевает герой.

Казалось бы, ясно как божий день: подвиг человека, подвиг народа измеряется масштабом содеянного, мерой жертв и страданий, которые он приносит на алтарь победы. А у нас то и дело слышишь голос перепуганного перестраховщика: это сгущение красок, это очернительство, это снижение героического облика народа...

Да чернят и унижают народ перестраховщики, лжедрузья, те, которые всякого рода ватными прокладками и обертками крутых спусков и поворотов истории обесценивают и умаляют народный подвиг!

Мы не имеем права замалчивать, упрощать все сложности и трудности нашего исторического пути. Не объясним мы — объяснят другие, только объяснят посвоему. Мы не скажем своим голосом всей правды — скажут другие «голоса», только скажут по-своему. Писатель по характеру труда своего должен быть смелым, критик — смелым трижды.

В связи с разговором о героическом позволю сделать маленькое отступление о скульптуре, на примере которой можно нагляднее проиллюстрировать то, что хочу сказать.

Это хорошо, это радует нас, что патриотический подвиг нашего народа в минувшей войне все больше и больше увековечивается в мраморе и бронзе. Но нет ли и тут порой некоторого однообразия? Воин-богатырь, воин с горой мышц, — но всегда ли в нем выражен богатырский дух, душа человеческая? Не знаю, кто как, а я давно мечтаю о таком памятнике, в котором был бы явлен солдат-освободитель, каким он был въяве, — самый обыкновенный, самый земной, вдосталь, по завязку хлебнувший всякого военного лиха, человек, годами живший в обнимку со смертью и не разучившийся быть человеком. Вот такому солдату-освободителю сызнова и сызнова поклонился бы весь мир. Все люди. И те, которые прошли через войну, и те, которые не знали ее.

Не скрою, хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы и мать-Родина, запечатленная в многочисленных мемориалах, приняла бы более земной, более человечный и, если даже хотите, более национальный облик — облик русской матери, облик матери-украинки, облик матери-белоруски, матери-грузинки, матери-казашки...

Прошу понять правильно: я вовсе не против монументальности в монументальной скульптуре. Я только против однообразия, против ложного, пустого монументализма. Давид Сасунский в Ереване — разве это не прекраснейший, исполненный эпической мощи и силы образ-символ героического народа? А как бесподобно, как впечатляюще передана в камне мертвящая, стопудовая тяжесть царского деспотизма в конной скульптуре Трубецкого — Александр Третий.

Любовь к слову, понимание красоты и силы его закладываются с детства — в семье, в детском саду, в начальной школе. И потому должен быть особый спрос с литературы для малышей, с детских издательств и особенно с хрестоматий, с «Родной речи».

К сожалению, «Родная речь» оставляет желать лучшего. Два стихотвореньица Пушкина для первого класса — не маловато ли?

Классики, классики. И Пушкин, Пушкин — отец наших душ. Это должно быть незыблемой основой всех школьных хрестоматий. Как хлеб, как воздух, как вода. Ведь именно классики — связующая духовная нить разных поколений.

В последнее время я получаю много писем от словесников средней школы, и в них один крик, один стон: помогите спасти уроки литературы. С каждым годом в программы средних школ вводятся все новые и новые дисциплины, и вводятся за счет литературы.

Пора всем понять: перегрузка школьника всевозможными предметами и недогрузка его родным словом может обернуться самыми серьезными последствиями, особенно в наш век всеобщей технизации и усыхания сердца. Ну, будут, будут у нас физики, будут математики, будут иные специалисты, а человек-то, будет ли человек-то?!

Преподавание литературы в школе — это, конечно, не только часы, учебники, но и учителя, а значит, педагогические вузы, которые готовят учителей. И об этом нам, писателям, надо бы говорить всерьез и обстоятельно, ибо, по моему глубокому убеждению, преподавание

советской литературы в вузах вызывает еще бо́льшую тревогу.

Двадцатый век подводит итоги, и сделать их обнадеживающими — это зависит и от нас, писателей.

Слово всегда было путеводной звездой человечества. В слове сокрыта самая великая энергия, известная на Земле, — энергия человеческого духа. Словом создавалась культура, словом ковалась вера, ковались идеалы, слово двигало народы в борьбе за равенство и братство, подымало на революции. И сегодня, в век неслыханной, небывалой спекуляции словом, лишь нам, писателям, дано вернуть слову его изначальную мощь и силу.

События властно требуют гражданского мужества и активности каждого человека. Только силой духовного единства миллионов, всего человечества можно противостоять ядерному безумию и отстоять жизнь на Земле. Так будем же достойны той великой миссии, которую возложило на нас время.

1981

ЧЕМ ЖИВЕМ-КОРМИМСЯ

Открытое письмо землякам

Уважаемые земляки!

Шестнадцать лет назад вы обратились ко мне с открытым письмом по поводу повести «Вокруг да около», получившей довольно широкую известность.

Немало в том письме было запальчивости и несправедливых упреков, но не об этом сейчас речь. Меня всегда волновали сложные проблемы развития русской деревни, ее материальные и духовные нужды, и именно об этом я писал в «Вокруг да около» и некоторых других произведениях.

Ныне мои писания тех лет кажутся робкими и даже наивными. О чем мечтали тогда мои герои? О том, чтобы получить 30 процентов от заготовленного ими сена. 30 процентов! Да неужели были времена, когда эти 30 процентов казались чуть ли не пределом мечтаний?

Были. Все было. Был «пустопорожний» трудодень, был труд на износ, были непомерные налоги, займы. Да чего-чего только не перенесла наша деревня за во-

енные и послевоенные годы! И как не порадоваться, что сегодня все это позади. Как не порадоваться тому достатку, который пришел на Пинегу, в нашу деревню.

Двести девять рублей — средняя заработная плата в месяц сегодня в Верколе. А доярки, пастухи, механизаторы, те и за 300 частенько переваливают. Свыше ста новых домов построено за последние десять лет в нашей деревне, за то время, что на Пинеге совхозы. Да каких домов! Просторных, светлых, благоустроенных — с электричеством, с холодильниками, с телевизорами и даже с телефонами, — любой горожанин позавидует.

Изменились и условия труда. Тракторы, комбайны, грузовики и прочее железо, как некоторые остряки коротко называют разную технику, давно уже прочно вошли в быт деревни.

Но за счет чего все эти отрадные перемены? За счет надоев, привесов, урожаев?

Увы, нет. Увы, за счет государства. За счет все возрастающих государственных вложений и дотаций, которые по совхозу достигают почти двух миллионов рублей.

Конечно, государство, город в немалом долгу перед деревней, и нынешняя материальная помощь ей вполне оправданна. Но помощь помощью, а как использованы эти огромные средства, эти народные миллионы в Верколе?

На 30 с лишним гектаров сократились и без того малые размеры пахотной земли, уменьшилось поголовье крупного скота. Надои молока увеличились с 1641 килограмма от одной коровы в 1963 году до 2254 килограммов в 1978 году. Но, если говорить серьезно, разве это то большое молоко, о котором вот уже сколько лет идут разговоры? В маленькой Финляндии, где мне довелось быть три раза, буренку, дающую молока меньше 5000 литров, вообще не держат.

Так в чем же дело, дорогие земляки? Почему чахнет общественное хозяйство в Верколе? С кого спрос в первую очередь?

Конечно, с руководства — с дирекции совхоза, с райкома партии — это азбучная истина. За десять лет в Верколе сменилось семь управляющих, три года нет бригадира по полеводству, из года в год не хватает телятниц и доярок... И таких упущений и просчетов, мягко говоря, немало. Все это так. Ну, а вы сами, дорогие земляки? Чувствуете ли вы свою ответственность за запу-

щенное хозяйство? Всегда ли выполняете свои обязанности? Всегда ли оправдываете трудом высокую зарплату, льготы северянам? Не превращаетесь ли — вольно или невольно — в нахлебников у государства?

Редкий год в Верколе хватает на зиму кормов для скота. В прошлом году, например, по 2 килограмма сена на день давали корове, а весной даже солому с Кубани завезли (это в край-то бескрайних трав!). И где уж тут надои наращивать. Сохранить бы вживе скотину.

На нехватку сенокосных угодий жаловаться не приходится — Веркола утонула в траве. Людей мало? 117 числится в Веркольском отделении — куда же больше? А на сенокос сколько вышло? 41 человек, чуть больше одной трети. Да и эти 41 работают ли с полной отдачей? Давно сказано: страдный день год кормит. А у нас на Севере и подавно: погожие дни на вес золота. Так разве можно впустую растрачивать это золотое время — на утренние разводы с сидениями и раскурами, на всякие разъезды?

Что же, веркольцы разучились работать, позабыли вековые страдные навыки? Не позабыли. На собственных участках работа кипела с раннего утра допоздна, зароды вырастали как грибы.

А почему телята ежегодно гибнут в Верколе? Я не поверил было, когда мне сказали, что за июль этого года пало восемь телят. И отчего? От истощения. Среди лета, когда трава кругом. И что же? Забили веркольцы тревогу? Меры неотложные приняли? Нет. Успокоили себя острым словцом: телят окрестили смертниками, а грязный, смрадный телятник, в котором круглые сутки взаперти томится молодняк, — концлагерем.

Зеленый загон для телят есть — под боком, с густой, сочной травой. Но не хватает телятниц, — жалуется бригадир по животноводству. Телятницы годами работают без отпуска, без выходных, без сменного графика.

Годами без отпуска, без выходных работают и доярки — самые сознательные труженицы в отделении, по словам того же бригадира.

Где же выход? Заболела доярка — подменить некем. Катастрофа. И уже не об увеличении поголовья иной раз подумывают в Верколе, а о том, нельзя ли часть скота передать в другие отделения.

Передать-то, наверное, можно, но не придется ли

тогда и покосы передавать, а затем и Веркольское отделение прикрывать?

Странно получается: кормимся от скота (молочно-мясное направление у совхоза), а от ухода за скотом отбрыкиваемся руками и ногами. Пора, давно пора мужчинам идти в животноводство, браться за корову, повсеместно вводить механизацию.

Но снова все тот же вопрос — только ли дело в машинах, в количестве людей? А сами люди — их отношение к работе, к земле, хозяйству, даже к самим себе? Не вытесняет ли порой трудника и рачительного хозяина равнодушный работяга, поденщик, калымщик?

Примеров тому немало. Еще недавно, в колхозные времена, веркольская земля кормила чуть ли не всю деревню, а ныне не может обеспечить фуражом даже своих коров. Лучший пахотный клин — задворки — давно уже не распахивается, отдан под личные покосы. Многие пашни заброшены, заросли кустарником. Дальние угодья по лесным речкам, так называемые суземы, вообще не осваиваются. А ведь в былые времена оттуда вывозили до двух тысяч возов сена! Нельзя без боли смотреть, как по заливным лугам — знаменитым пинежским наволокам — вдоль и поперек разъезжают тракторы, начисто уничтожая травяную подушку луга. Ничего не стоит иному механизатору прокатить и по хлебному полю. И вообще, что хочу, то и делаю: контроля, повседневного учета в полеводстве нет. Зарплату обычно начисляют со слов работающего, у которого подчас самые смутные представления о трудовой чести.

Невольно вспоминается мне швейная фабрика в Финляндии. Там брак — явление редчайшее. Из десяти тысяч сшитых костюмов лишь двадцать пять оказались с изъяном. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что при этом на фабрике отсутствует всякое ОТК. «У нас, — заметил с гордостью директор, — ОТК у каждого рабочего в крови». И величайшим бесчестьем, величайшим позором в Финляндии считается плохо выполненная работа — будь то работа мусорщика, плотника, инженера или хлебороба.

У нас, к сожалению, трудовой честью, человеческим достоинством не очень дорожат.

Когда это было, чтобы в страду работоспособные мужики были в отпуске? Секретари райкома годами не бывают в летнее время на отдыхе, а в Верколе до чего додумались? В июле, в самый разгар страды, дали отпуск

шести самолучшим мужикам. Ну, недосмотр, ну молодой управляющий... А сами-то мужики? У них-то совесть есть?

Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием? Казалось бы, с пьяницей, с лодырем разговор должен быть коротким: увольнение. Ведь не потворством же укреплять трудовую дисциплину! А в Верколе за десять лет, за всю историю совхоза не уволили ни одного человека. Не пользуется ли этим нероботь, разного рода любители легкого житья?

В деревне нет недостатка в работящих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце, когда видят сгноенное сено, погибающих телят, пьяных подростков. «Разбаловались... разболтались», — самокритично говорят они меж собой. Но почему не слышно их требовательного голоса? Почему никто из них не хочет идти в бригадиры, в управляющие? Почему они даже детей своих взрослых отговаривают от участия в управлении хозяйством?

Равнодушие, пассивность, нежелание портить отношения с односельчанами... И вечная надежда на строгого и справедливого начальника, который откуда-то приедет и наведет наконец порядок. Почти как у Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Но так ожидала бабушка Ненила, неграмотная старуха некрасовских времен. А теперь-то, когда почти у всех чуть ли не среднее образование, теперь-то зачем ждать помощи со стороны? Лучше вас никто не знает веркольской земли, хозяйства, людей, местных нравов, — вам и браться за дела, вам и наводить порядок в собственном доме.

И тут, разумеется, свое решающее слово должны сказать бы коммунисты и комсомольцы. Немало их в Верколе: 41 член партии и 49 членов ВЛКСМ. Правда, лишь четверть коммунистов и половина комсомольцев работают непосредственно в отделении. Но не все они оправдывают свою авангардную роль, — к сожалению, и в их среду проникла распространенная ныне болезнь равнодушия.

На одном из самых красивых мест русской земли

стоит Веркола. Да и не только русской. За свою жизнь я объездил немало разных стран, много красоты повидал в Японии, во Франции, в Америке и Англии, в Финляндии и Швеции, в Италии и Португалии. Но пинежские просторы, пинежские белые ночи и цветущие луга, наши бескрайние леса и деревянные строения не уступят заморской красе. Но ценят ли, берегут ли красоту веркольцы?

Пинежский берег под деревней — разноцветная галька да разливы желтых песков — залюбуешься! А чтобы ступить босой ногой — и не думай: битые бутылки, банки консервные. Да и в реку без опаски не зайдешь: и там полно этого добра.

Не лучше и в окрестных лесах. Что только делают лесники? Хлам, неубранная хвоя, гниющий вершинник — это в делянках, где рубили дрова. А там, где заготовляли лес, и того страшнее: черная пустыня, пройти невозможно.

А в самой деревне? Три-четыре вековечные лужи на главной веркольской улице. В непогодь, в дождь не пройти без болотных сапог. И вот на обочину бросают кирпич, доски, палки и только никак не найдут способа разделаться с ними навсегда.

А до каких пор вокруг маслозавода будет грязь и душина? Иной раз идешь мимо — нос приходится затыкать. Покойный Василий Васильевич Нечаевский, знаменитый директор Вельского совхоза, борясь за чистоту на фермах, возле коровников сажал цветы. А тут ведь не коровник — маслозавод.

Бедствием деревни стали собаки. Заведут щенка, поиграют, потешатся, а потом выбросят на улицу. Да и те собаки, которые при хозяевах, не на привязи. И вот от собачьих стай житья нет, были случаи — покусали детей. Неужели только большая беда заставит решить «собачий вопрос»?

Особый разговор о клубе. Сколько приходилось в свое время слышать упреков и нареканий: в Верколе нет очага культуры. Построили клуб. Красотой не блещет, на барак смахивает, но все в нем есть: зрительный зал, библиотека, читальня. Однако и здесь не хватает заботливых рук. Кругом битый кирпич, обломки шифера, кучи песка, разбросанные дрова, печи и крыши не ремонтированы. А крыльцо? Все лето веркольцы развлекаются: размышляют вслух, как и куда ступить (доски прогнили и провалились), подсказывают друг другу, де-

тям. А чтобы взять топор и гвозди да сменить доски — нет, ждут указаний свыше. И даже пошучивают: «У сельсовета бюджет на то есть».

Двадцать пять депутатов сельского Совета в Верколе! И опять пошучивают веркольцы: раньше в деревне один староста был, а порядка было больше. Так в чем же дело? Те ли это депутаты? Тем ли людям вы доверили устраивать свою жизнь? Ведь вы их избрали, ведь ваше право спросить с них.

Во все времена нес свет культуры в народ сельский учитель. Так и повелось: каков учитель — таковы и дети, таков и облик села. За примером недалеко ходить. Сурский учитель, ныне пенсионер, Иван Андреевич Данилов — сколько он сделал для своего села! Его стараниями, руками его учеников песчаная Сура превращена в зеленый сад.

В Верколе тоже взялись за посадки — от школы до клуба натыканы березки. Но зачем? Комаров разводить? План по озеленению выполняли? Ведь эта расшитая пестрыми мхами и окаймленная соснами поляна, как и лужок возле почты, тоже, кстати сказать, изуродованный посадками, сами по себе прекрасны и не случайно издревле были местом народных гуляний. Да нужно ли много говорить о роли учителей в Верколе, когда на школе нет даже вывески с названием!

И все-таки нельзя сказать, что у веркольцев иссяк источник вековой народной поэзии и красоты. Концерт местной молодежной самодеятельности этим летом был не хуже выступления иных столичных коллективов. С подлинным блеском, радуя искусством народного слова, песни и танца, прошла «Веркольская вечерянка». Но что печально? Ни одного парня, ни одного мужчины, ни одного подростка не было на сцене, так что женщинам пришлось играть и мужские роли.

Народные традиции... Везде — в Армении, Грузии, Литве — хранят и вновь оживляют и возрождают их. А почему же мы так беспечны?

Это хорошо, что старинные дома, амбары, церкви, крестьянскую утварь свозят в Малые Карелы. Но и на местах, в каждой деревне должна бы заново ожить северная краса — в песнях, в танцах, в ремеслах, в охраняемых памятниках. Почему вместо прекрасных, жизнерадостных, игровых, разнообразных по рисунку русских народных танцев — восьмеры, кадрили, к примеру, — молодежь увлеклась примитивными джазовыми ритма-

ми, западной трясучкой, напоминающей дерганье припадочных?

Спрашивается: к какой жизни, к каким делам готовят своих детей иные веркольские родители? Сами с ранних лет с косой, с топором, и сейчас ломят с утра до ночи, а великовозрастные сынки и дочки, нынешние акселераты, нередко давят подушку до одиннадцати часов дня — отдыхают. Под крылом такой неразумной родительской любви да жалости и вырастают бездельники и эгоисты, которые не умеют беречь и ценить хлеб и все содеянное трудом. Права свои хорошо усвоили, требуют много, а вот обязанностей знать не хотят.

Двести семь пенсионеров в Верколе. Огромная сила! А какое влияние оказывают они на жизнь деревни? Сколько их, к примеру, вышло на сенокос в погожие дни? По пальцам пересчитаешь. Зато иные пенсионеры, еще полные сил, не достигшие и шестидесяти лет, с каким усердием занимаются своим хозяйством!

Не потеснило ли кое у кого в Верколе свое, личное — наше, общее? Не обмелела ли река народной совести, народной нравственности?

Да, о многом, об очень многом заставляют думать веркольские дела. Однако, если сказать коротко, все в конце концов упирается в равнодушие и пассивность. Нет активного, заинтересованного, требовательного отношения в Верколе к совхозным делам, к благоустройству села (чего стоит одна хаотическая застройка деревни!), к культуре, к молодежи. А ведь здесь жить и работать будущим поколениям.

И почему бы уже сегодня не представить Верколу будущего? Сады, цветники, свое парниковое хозяйство, свой дом быта с разного рода услугами, которые наконец-то освободят сельскую женщину от трудоемких домашних дел, дом подлинной культуры, где задружат старина и современность, где каждый будет не только зрителем, но и участником, творческим человеком. И, конечно же, ухоженная земля, коровы-пятитысячницы и воспетый в песнях и сказках резвый конь, без которого на Севере не обойтись.

Быть или не быть такой Верколе — зависит от вас, дорогие земляки.

1979, август
с. Веркола

РАБОТА — САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Слово в день шестидесятилетия

Уважаемые товарищи, дорогие друзья, земляки, гости, ленинградцы, читатели! Я должен сказать, что я просто растрепан для какого-то осмысленного выступления, растрепан в своих чувствах, потому что та лавина приветствий, та лавина любви и сердечности, телеграмм, писем, прекрасных слов, которые были сказаны здесь, для меня, ей-богу, была неожиданна.

Я благодарю всех, кто принял участие в сегодняшнем вечере. Я глубоко счастлив, что в день своего шестидесятилетия удостоился высокой правительственной награды.

Я хорошо понимаю особенности юбилейного жанра, юбилейного красноречия. Они немыслимы без гиперболы, без преувеличения. И все-таки все, что здесь было сказано, взволновало, очень тронуло, и это дает мне новые силы для жизни, для работы.

Не знаю, как вы, а когда я иду на юбилей, я всегда жду от юбиляра, особенно в определенных летах, в определенном возрасте, неких откровений. Вот ты прожил шестьдесят-семьдесят-восемьдесят-девяносто лет! Каковы итоги? Что ты вынес из жизни? И надо сказать, что я всегда уходил разочарованным, потому что большинство отдавало дань судьбе за то, что им вот выпало прожить большую и долгую жизнь. Это мне казалось банальностью. Но я тоже начну с этой банальности.

Мне очень повезло, громадно повезло, что я дожил до шестидесяти лет. В какой век? В какое время? Где те ребята, с которыми я вступал в жизнь, с которыми играл на деревенской улице? Где двадцатый год — год моего рождения? Он почти весь без исключения лежит на полях войны. А где мои сверстники, студенты, с которыми я уходил в сорок первом году, в конце июня месяца на войну добровольцем? Их был целый батальон, а вернулось? Вернулось двадцать-тридцать человек. И где их могилы? Неизвестно. Многие запаханы тракторами, на многих всколосился кустарник, вырос лес. На многих безымянных, но поистине героических могилах, которым мы обязаны тем, что сидим здесь и живем, на этих могилах воздвигнуты сегодня под Ленинградом дома, в которых живут люди.

Я повторяю, мне выпало действительно огромное

счастье, потому что я входил в жизнь вместе со студентами — поистине талантливыми, одаренными, богатыми натурами, намного меня богаче. Все они полегли.

Это, конечно, великое счастье, это и огромная ответственность. И это тот бог, та совесть, которой (да не сочтите это за громкие слова) я выверяю всегда свою жизнь.

Второе мое счастье. Я родился в деревне, в крестьянской, в самой что ни на есть распатриархальной семье. Сегодня все, кому не лень, по поводу и без повода, пинают патриархальную старую деревню. Как это можно? Да это же наша мать родная. Все мы с вами, здесь сидящие, и не только мы, все народы мира вышли из деревни. А Россия, как здесь очень хорошо говорил мой друг Солоухин, деревне обязана больше чем кто-либо. Русская деревня — это та нива, на которой всколосилась вся наша национальная культура, наша этика, нравственность, наша философия, если хотите, наш чудо-язык.

Лев Толстой за образец для себя в течение всей жизни ставил патриархального крестьянина. Заблуждение? Возможно. Но ведь патриархальный крестьянин — это тот человек, который жил по законам совести, по самым высшим неписаным законам, к которым на протяжении всей своей истории стремится человечество. Это человек — я имею в виду тип старого крестьянина, — который руководствовался одной-единственной заповедью: жить без работы, не работать — это великий, самый великий грех.

Моей Архангелогородчине, откуда я, — краю лесов и белых ночей — Русь обязана особенно. С Севера пролился на Россию свет учености. В мужицкой котомке Михайло Ломоносов принес свет учености на Москву.

И мой первый, самый первый, самый низкий поклон сегодня — моей родной земле, земле очень скудной на урожаи хлеба, но земле очень богатой на слово, на художественное слово, которое двигает народы, которое двигает материки, которое управляет землей.

И там, в Верколе, на моем родном Пинежье, сейчас занесенный метелями, февральскими снегами, где-то стоит самый скудный, быть может, по веркольским масштабам, домишко, но зато на самом прекрасном месте — это мой дом или, как говорят, дом писателя. И в этом доме, который занесен напрочь снегами, — моя душа, мое сердце.

Третье мое счастье, третье мое везенье — это моя литературная судьба. Мне повезло. Много, очень много талантливых ребят, людей, которые выходили со мной, и которые выходят сегодня, и которые выйдут еще после меня на трудную тропу литературы, не достигнут того, чего я достиг. Не потому, что я их талантливее. А потому, что мне повезло! Меня били! Крепко били. Но те произведения, за которые меня били, — проходили годы, проходило время — и их причисляли к положительным явлениям советской литературы.

И тут я не могу не сказать о письмах читателей.

Наши журналы, наши газеты не могут похвастаться реальной критикой, той критикой, которая на недосягаемые вершины вознесла в свое время «Современник», той критикой, которая литературой объясняет жизнь, а жизнью выверяет литературу.

Но у нас есть реальная критика. Это письма читателей. В самую трудную, в самую сложную минуту наш читатель всех возрастов, разных профессий подавал мне руку помощи.

И сегодня мне хочется поблагодарить, от всей души поблагодарить своих читателей.

Известно, что человек строит себя сам. Но, боже мой, сколько строило людей меня! Сколько было учителей и учителей — неграмотных, малограмотных, профессоров, ученых, академиков, и своих, русских, и заграничных, в том числе финнов, которые вот сегодня здесь сидят на моем вечере и которым я очень рад. Все они влияли на меня. Все они меня делали... Вот у нас принято наставничество — хорошая вещь. Но я всегда учусь, всю жизнь, у всех, в том числе у молодежи. Вот эти ребята, мои дорогие ребята, которые здесь выступали, они меня обогатили очень за свою жизнь, хотя им двадцать лет.

Но я хотел бы все же в числе своих очень дорогих людей, которые оказали на меня особое влияние, назвать несколько.

Мама. Степанида Павловна, неграмотная крестьянка, которая с трудом умела ставить три печатных буквы. Но крепкая, неглупая, властная и работящая женщина, рано овдовевшая, но которая твердой и уверенной рукой повела нашу семейную ладью. В 1922 году, когда мы остались от отца, старшему было пятнадцать, младшему (я был младший) шел второй год, и у нас была всего лишь коровенка. А за восемь лет, когда мы всту-

пали в колхоз, мы своим трудом, наша ребячья коммуния сотворила чудо: у нас было две лошади, две коровы, был бык, была телушка, был добрый десяток овец — все это мы наделали.

Не могу без чувства глубокой трепетности, глубокого волнения вспомнить тетушку Иринью Павловну — старая дева, которая всю жизнь обшивала за гроши, почти задаром, деревню. Но великая праведница, вносившая в каждый дом свет, доброту, свой мир. Единственная, может быть, святая, которую я в своей жизни встречал на земле. От рук этой тетушки Ириньи — она в отличие от матери была большой книгочейшей — я впервые вкусил духовной пищи.

Братья мои. Старший брат Михаил, на пятнадцать лет меня старше. Это был брат-отец. Он был для меня и для всей нашей семьи тем же, чем был Михаил Пряслин для своей семьи.

Брат Василий. Брат-друг, в доме которого я был всегда желанным гостем, он и его жена очень много сделали для того, чтобы я встал на ноги, для того, чтобы я первый в нашей семье и один из самых первых в деревне получил высшее образование.

Мои учителя. Много было учителей, очень много было учителей. Скажу только о двух, которые оказали особенное влияние на мою нравственную жизнь.

Алексей Федорович Калинцев. Старый учитель, естественник. По уму, живому, разностороннему, по нравственному началу и чистоте он мог бы занять и украсить любую университетскую кафедру. Но это был народник, в самом высоком смысле этого слова народник. И после окончания семинарии он пошел в глушь, в пинежскую глушь, за четыреста верст от ближайшего города. И посвятил всю свою жизнь воспитанию неграмотного брата...

Я хотел бы назвать еще одного учителя, совершенно другого типа. Николая Павловича Смирнова — двадцатилетнего-двадцатичетырехлетнего парнишку с моих сегодняшних возрастных высот, но в то время уважаемого Николая Павловича Смирнова. Человек, безгранично преданный своему делу, воспитанник Вологодского института, который приехал к нам, стал директором и преподавал литературу. И с каким рвением, с каким прилежанием, с каким пониманием святости того дела, которое он делает. Он погиб на войне.

Не могу всех назвать. Но двух человек, которые

сыграли особую роль в моей жизни в годы войны, назову. Доктор Лурье... К стыду своему, не помню ни имени, ни отчества. Она ходила всегда в госпитале с опухшим лицом, отливающим чугунной синевой. И мне даже трудно сказать о возрасте ее, сколько лет ей было. Но благодаря ей я остался с двумя ногами. У меня было тяжелое ранение, прострелены разрывной пулей ноги, нужно было ампутировать. Она спасла мне ногу. Да она, кроме того, добилась, чтобы мне как тяжело больному вместо пяти клецок, вместо пяти катышков теста выписали в самые лютые дни блокады восемь катышков теста. А восемь клецок — это было очень много.

Второй человек — тоже женщина. Это Минна Захаровна Каган, мать моего товарища, с которым я уходил на войну, ныне известного искусствоведа. В самое лютое время, в январские морозы сорок второго года, когда я лежал в промерзшей аудитории исторического факультета, в ушанке, под матрацем, она с улицы Чайковского пришла ко мне вместе со своей дочкой-школьницей в госпиталь и пришла еще с блокадным подарком — с блокадным сухариком. И этот подарок — один из самых памятных, может быть, самый дорогой для меня подарок в жизни. Она сегодня в преклонных летах, и я от всей души желаю Минне Захаровне самого доброго здоровья и долгих лет.

Я могу назвать многих... Александра Трифоновича Твардовского, Михаила Леонидовича Слонимского, человека великой доброты к начинающим талантам. Но я хочу еще назвать только двух человек. Это мой друг, ленинградский художник Федор Федорович Мельников, первый мой друг, друг моей души. Это он заставил взять в мои руки перо, заставил писать, ибо мы, крестьянские дети (это всем известно, кто вышел из деревни), отравлены комплексом неполноценности на всю жизнь. Это он заставил меня взяться за писательское перо, это он поверил в мои силы. Это он на протяжении многих и многих лет стоял у моей писательской кочегарки и раздувал в ней огонь.

Я не могу не сказать — простите, пожалуйста, так сказать, за семейственность,— самых добрых слов о моей жене, которая тоже сыграла очень большую роль в моей писательской судьбе. Мне попалась жена, у которой был с ранних лет, с юных лет обостренный вкус к вопросам нравственным, духовным. И наш семейный

брак — это и брак социологии и нравственности. Я, конечно, был отчаянный социолог... Я не могу не сказать о ней добрых слов, потому что она мой соратник. Она человек, без которого я вообще-то ничего не делаю ни в жизни, ни в литературе. Я не скрываю: я подкаблучник. Но, я думаю, каждый нормальный мужчина — подкаблучник.

Возвращаюсь к тому последнему, с чего я начал. Каковы же итоги? К чему же все-таки я пришел к своему шестидесятилетию? Чему я поклоняюсь? Что я исповедую? Какая моя вера? Что больше я ценю в своей жизни? И от чего получал радости больше всего?

Работа! Работа! Каждая хорошо написанная строчка, каждый хорошо написанный абзац, страница — это самое большое счастье, это самое большое здоровье, это самый лучший отдых для души, для ума, для сердца... Вы спросите, а любовь? Я и на это отвечу — пусть в духе шестидесятников. Работа — это, вероятно, самая высокая любовь, любовь к своей семье, любовь к своему дому, любовь к Родине, любовь к народу.

Сегодня в повестке дня стоит задача возрождения Нечерноземья, коренных русских земель, с которых началась Великая Русская Держава Нечерноземье — это сердце России. И сегодня здесь делаются большие дела. Но это только начало. Возрождение Нечерноземья, возрождение России — это задача номер один, это задача государственной важности. В конце концов здесь решается вопрос — быть или не быть. Я сознательно заостряю этот вопрос. Это задача не деревенская, это задача не одногодовая, не однолетняя, это задача не только тех людей, которые сегодня трудятся в деревне. Это задача, как подчеркивает наша партия, поистине всенародная. И все, в том числе и мы с вами, должны со всей своей энергией включиться в эту огромную, в эту поистине ответственную, важную работу. Потому что подъем Нечерноземья, возрождение русской нивы на новой индустриальной, производственной основе — это и дело непосредственных земледельцев, механизаторов, это дело и партийных работников, это дело экономистов, это и дело интеллигенции. Это дело, может быть, в первую очередь интеллигентов, и в первую очередь тех, кто должен будить народ, вести народ, — людей, которые имеют дело со словом. Не забывайте: вначале было слово.

29 февраля 1980

СОТВОРЕНИЕ НОВОГО РУССКОГО ПОЛЯ

Интервью для журнала «Наш современник»

— Нашу беседу, Федор Александрович, хотелось бы начать с вопросов, касающихся вашего последнего по времени романа «Дом», которым завершилась тетралогия «Пряслины».

На мой взгляд, главная ценность, смысл и значение этой книги все же не столько в подведении итогов, сколько в открытии новых перспектив и перед самим автором, и перед современной литературой, в первую очередь перед так называемой деревенской прозой.

Роман привлекает прежде всего острой новизной и актуальностью своей проблематики, общего подхода к изображаемым событиям и лицам. Рядом с темой безмерных тягот, лишений, невзгод, которые легли на плечи русского крестьянина, поднимавшего послевоенную Россию из руин, в романе начинает набатно звучать тема ответственности каждого человека за любые, в том числе самые горестные и пагубные, жизненные обстоятельства. Вот почему, думается, так пристально рассматривается в «Доме» состояние нравственного здоровья людей.

По существу, впервые в современной художественной прозе в полный голос с тревогой и болью говорится о наблюдаемых подчас среди сельских жителей общественной инертности, нерадивости, бесхозяйственности, иждивенческих и потребительских настроениях. Иначе говоря, на первый план в «Доме» вышла проблема духовного потенциала личности современного человека. И в этой связи особый интерес вызывает образ Виктора Нетесова, нового управляющего совхозным отделением в Пекашине, с которым вы и ваши герои связываете надежду на искоренение имеющихся в жизни недостатков.

В своем выступлении на VI съезде советских писателей вы, помнится, говорили, что наше время требует «человека-хозяина, человека с развитым самосознанием, обостренной гражданской совестью, способного не только мыслить по-государственному, по-хозяйски, но и отвечать за все происходящее в стране». Но вашего Нетесова едва ли можно причислить к людям такого типа. В нем сильнее всего выявлены такие черты характера, как деловитость и даже педантичность. И все-таки не

кому-то другому, а именно ему доверили вы преображение Пекашина, утверждение той хозяйственной нови, которой требует время.

Чем подсказан такой ваш выбор?

— Содержание романа, как вам хорошо известно, нельзя сводить к поискам позитивных экономических программ. В «Доме» идет разговор о жизни, о насущных проблемах нашего времени. И, конечно, о человеческих судьбах. Меня всегда волновала глобальная проблема — человек и время, их взаимовлияние и взаимообусловленность. И в этом смысле Нетесов — тоже порождение времени, как бы ответ на запросы сегодняшнего дня. Ведь у каждого времени свой тип руководителя. В иные времена на селе был нередок руководитель с хорошо поставленным голосом, потому что материальных-то стимулов в его распоряжении не было... В наши дни, когда главным тормозом жизни становится бесхозяйственность, расхлябанность, все взывает к фигуре делового человека. Нам в России всегда не хватало деловитости. И русская литература нередко находила делового человека на стороне. Но и он ее до конца не удовлетворял (вспомним героев Гончарова, Тургенева, Щедрина).

Деловой человек появился в России в середине XIX века, его заметила русская литература. Но и тогда он казался ей приземленным, бездуховным, лишенным романтического ореола.

Вообще взаимоотношения русской литературы и практической жизни, русской литературы и времени очень сложны. Здесь, вероятно, сказываются наши национальные особенности. Нам всегда тесно в рамках того, что есть, мы всегда уносимся мечтами в небеса.

Вот и сейчас наша земля взывает: «Дайте мне хозяина, я изнемогла, истосковалась по умным и добрым, заботливым рукам». И сегодня в литературе родилась фигура «технаря», делового человека, но часто — без души, без «лирики». Виктор Нетесов — одна из разновидностей делового человека. Но для меня эта фигура в романе не главная, эпизодическая даже. Он не развернут. И, конечно, далеко не идеален. Но в противовес разболтанности и анархии такой человек то тут, то там заявляет о себе. Такой росточек появился и на пекашинской земле.

— *А сможет ли он изменить дела в Пекашине? Ведь Михаил радуется его появлению.*

— Да, конечно, Михаил и другие Пряслины радуются появлению Нетесова, появлению человека, который пытается что-то сделать, ввести в берега недобро разлившееся половодье жизни. А что получится, что будет дальше? Покажет время. Дела в Пекашине зависят не только от Нетесова. Проблема «Нетесов и деревня» — лишь часть общей проблемы активности современного человека как в деревне, так и в городе. Одному Нетесову не разрешить всех жизненных проблем. Важна общенародная инициатива и активность.

«Мы ничего не можем, ничего не решаем!» — это самый ненавистный мне образ мышления, с которым необходимо бороться, ибо многое на местах зависит от нашей собственной активности, от поведения каждого человека. И мне кажется, что наиглавнейшая, общегосударственная задача сегодня — активизировать тех, кто погружен в болото равнодушия, безразличия и неверия в свои силы. И все мои писания, все мои сочинения преследуют именно эту цель.

— *А как вы относитесь к понятию «народ»? К положительному и негативному в нем, к рассудку масс и их предрассудку? Ведь именно позицией в этом вопросе определяется гуманистическое содержание всей творческой деятельности художника.*

— Я не стою коленопреклоненно перед народом, перед так называемым «простым народом». Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое. Более того, злое иногда поднимается над добрым и даже подминает его. Примеры? Да их немало как в мировой истории, так и в нашей отечественной, национальной.

— *Раз уж зашла речь о национальной истории, скажите, а какую, по вашему мнению, роль играет в судьбах русского народа своеобразие его национального характера? И насколько важно для вас как писателя национальное начало в характеристике личности литературного персонажа?*

— Очень, очень интересный вопрос. И важный, тем более что писатели нередко исходят исключительно из социальных предпосылок и схем в объяснении человека. Такой подход мне кажется недостаточным. Многое в жизни любой нации объясняется особенностями национального характера, в нем таятся как взлеты, так и провалы истории. Я убежден, что русский характер —

самый многогранный, и самый разнообразный, и самый, так сказать, невыделанный, что ли, не отлившийся в четко определенные формы. Он так же многообразен, как, скажем, многообразна и географически, и климатически наша страна. И в этом многообразии — наше богатство, великие возможности, которые могуче проявились в русском искусстве. Русский характер очень красив, живописен, дает благодатный материал для литературы. Однако он не очень, как бы это сказать, удобен для практической, общественной жизни.

В русском характере — об этом не раз говорилось, и на то были свои исторические причины — нередко уживаются самые полярные тенденции — скажем, стремление к государственности и тяга к своеволию, нередко граничащему с анархией. Иногда нравственный максимализм, который так вознес русскую литературу XIX века над всеми литературами мира, наше стремление во что бы то ни стало разрешить, и разрешить немедленно, сию минуту, все «проклятые» и вечные вопросы человечества оборачиваются забвением земных мелочей, конкретных дел своего бытия.

В общем, на эту тему можно было бы много рассуждать. Но к чему я клоню? К тому, что я — в меру сил своих — стараюсь избегать однозначных характеров, учитывать, так сказать, все слагаемые, которые образуют характер моих героев.

— Мне кажется, что в иных случаях именно эта неоднозначность становится у вас живым нервом воссозданных характеров. Такова ваша Алька, одновременно и труженица, и щеголиха, недооцененная, по-моему, критикой и несправедливо зачисленная ею в разряд обыкновенных любительниц легкой жизни. Таков Егорша, в котором по-своему, в каком-то уродливом виде проявилась извечная тяга русского человека в неведомую даль, ухарство и одновременно тоска по чему-то необычному.

— Да, да, за Егоршу и мне хочется заступиться. Подлец, сукин сын, все вокруг себя вытоптал, в пепел превратил — все это так, все правильно. Но ведь Егорша и артист, и балагур, в нем и широта, и удаль русская. И недаром же его любила такая прекрасная женщина, как Лиза. В других жизненных обстоятельствах Егорша мог быть другим человеком. И здесь нужна обвинительная речь не только в его адрес. То же самое можно сказать и о Пелагее. Вот женщина! Это же

настоящий министр по своим человеческим задаткам! Но она была поставлена жизнью в очень жестокие условия. И время изломало ее, заставило опуститься до тяжких компромиссов с собственной совестью.

Мне хочется написать рассказ (а может, он у меня уже и написан), где в национальном характере раскрывались бы вся сила и слабость нашей современной жизни. Русский характер — это костер, в котором разгорелась наша революция. Мой соплеменник — и вечный странник, искатель, и неисправимый идеалист, и интернационалист, носитель идеи всемирного братства.

И еще одну важную черту отметил бы я в русском характере — черту, которая многое объясняет в нашей истории и которая в свою очередь во многом объясняется нашей историей, — это готовность к долготерпению и самоограничению, к самопожертвованию. Черту, гениально подмеченную еще Пушкиным, хотя нужно прямо сказать: в этой особенности имеются как свои светлые, так и опасные, даже пагубные стороны.

— *Национальная способность к самоограничению и самопожертвованию наиболее, пожалуй, сильно выражена в воссозданных вами женских образах — от Милентьевны и до Лизы. И нельзя не заметить, что к своим героиням вы относитесь с особенной любовью. Ваши старухи словно бы изнутри светятся какой-то неизбывной красотой. В том видна старая добрая традиция русской литературы, которая всегда поднимала женщину на пьедестал. Но писательская любовь к женщине бывала разной по своим мотивам. У Достоевского, например, преобладало чувство сострадания к ней как существу, наиболее униженному и оскорбленному жизнью. А на чем зиждется ваша любовь к русской женщине?*

— Я бы сказал: и на жалости, и на восхищении, и на чем-то, может быть, еще, трудно выразимом словами. Русская женщина достойна самой высокой любви и благодарности. Она всегда играла исключительную роль в судьбах России, а в советское время — особенно. Я уже как-то говорил, что русская баба фактически открыла второй фронт, в котором так остро нуждалась наша страна в годы войны. Возьмите мою родную деревню Верколу! Целый батальон солдат выставила она в сорок первом году. И вся мужская работа, все заботы и тревоги легли на плечи женщины. А в послевоенное время? Чего стоит одна только безотцовщина, больно уда-

рившая и по детям, и по их матерям. Оценено ли все это? Я бы памятник поставил русской бабе!

А роль женщины в национальной культуре? Не будем говорить о театре, кино, литературе. Вспомним хотя бы Соловки!

Первый раз я был там лет десять назад. Все там было разорено, разгромлено так, что, кажется, святым чудотворцам и тем не вернуть к жизни эту жемчужину отечественной культуры. А в этом году съездил — ахнул! Былая красота встает из руин, очищается от монашеской бытовой коросты, которой обросли Соловки за века, возвращается к жизни в своей первозданности, в своей изначальной, истинно русской, северной чистоте и строгости форм. И кто все это сделал? Кто стал во главе этого большого дела? А прежде всего три русские женщины-энтузиастки: автор проекта восстановления О. Д. Савицкая, директор музея Л. В. Лопаткина, которую смело можно назвать первой игуменьей-строительницей в истории Соловков, и заместитель начальника управления культуры Архангельского облисполкома В. В. Филиппова — человек, который сыграл немалую роль и в создании ныне широко известного музея деревянного зодчества в Малых Корелах (под Архангельском).

Но вы можете сказать: это-де все примеры из высших сфер. Пожалуйста, спустимся в самые нижние этажи жизни. Женщины моего родного Пинежья. Нынешний мужик пошел — черт-те что. Ни песню спеть, ни сплясать, ни на клубной сцене выступить. Потребители! А иного, кроме бутылки, и вообще ничего не интересует. А женщины, мои землячки, — дай бог им здоровья! Скотина — а животноводство у нас основное направление в сельском хозяйстве — на них, рожать и воспитывать детей — они, вся художественная самодеятельность деревни — тоже они...

— *Короче, на женщине вся жизнь держится?*

— Многое, очень многое держится в России на женщине. Не только в деревне, но и в городе. И у меня иной раз даже дерзкая мысль возникает: а не вернуться ли нам к матриархату? Ей-богу!

— *Федор Александрович, мы с вами все время говорим о деревне, о крестьянстве. И это естественно. Таков не только основной жизненный материал вашего творчества, но и главная ваша сердечная привязанность. Но, коснувшись проблемы национального характера, нельзя,*

наверно, не вспомнить и о передовом русском интеллигенте. Ведь и здесь подвижничество и самоотверженность, что называется, чистой воды! Мне кажется, тема интеллигенции тоже должна быть очень близка вам. Ведь судьбы крестьянства на протяжении всей нашей истории постоянно пересекались с судьбами интеллигенции, одержимой идеей так называемого «хождения в народ».

— Вы правы, русская интеллигенция самая демократическая и самая святая в мире. Раньше народ и интеллигенция жили розно, шли своими путями. И там, и здесь был свой мир, своя духовность, своя, если хотите, интеллигентность. Однако лучшая часть образованной интеллигенции всегда считала себя в долгу перед народом и, как могла, платила этот долг. А деревня в свою очередь дарила науке, искусству своих лучших сынов.

Поделюсь секретом. У меня есть давний замысел написать повесть, роман — это как уж получится, — где деревня и интеллигенция существовали бы не в разных потоках. Всем сердцем хочется воспеть подвиг интеллигенции нашего прошлого, армии земских врачей, учителей, сельских духовных пастырей. Русская литература в долгу перед ними. А были они чаще всего бескорыстными тружениками. Жили нелегко, бедно, без всяких, как говорим мы теперь, удобств. Но являлись истинными светильниками разума и человечности на Руси, носителями реальной пользы и вместе утешителями, нравственной опорой множества погрязших в нищете и невежестве людей старой России. Из них-то в большинстве и вышла наша трудовая интеллигенция.

Конечно, у интеллигенции как классовой прослойки имелись свои слабости, недостатки. Но опрометчивым было бы, как говорится, с водой выплескивать ребенка. В этой связи, кстати, стучится в дверь вот какой вопрос. Когда-то, в пору революционного подъема, в пору, когда все оценивалось с точки зрения задач надвигающейся революции, справедливой критике подвергалась известная «теория малых дел». Ну, а сегодня? Нелишне сегодня как раз подумать о значении так называемых малых дел, которые, складываясь, составят большое, о каждодневном совестливом исполнении каждым гражданином его конкретной работы, без чего, я убежден, неосуществимы никакие грандиозные планы и программы.

— Совестливость, совесть — понятия старинные, но нестареющие, коренные для русской литературы. Хотя иногда, право, начинают они казаться не столько старинными, сколько старомодными. В ряде произведений последних лет, воодушевленных гордой идеей НТР, отнесены они порой в разряд милых, но бесполезных «сантиментов». Современному деловому человеку, дескать, не до них. А как вы, Федор Александрович, представляете себе состояние духовности, нравственности в век научно-технического и экономического прогресса? Для всех очевидно, что материальный уровень нашей жизни растет, а духовный?

— Трудный вопрос. И возможен ли однозначный ответ на него? Очень соблазнительно было бы сказать: да, человек год от года становится лучше, добрее, чище. Но не будет ли это упрощением? Не обидим ли мы тем самым своих предшественников? Не проявим ли снобистского высокомерия? Пушкин, Л. Толстой, Чехов. Да разве сегодня они не являются для нас высочайшим примером духовности? А как без восхищения говорить о декабристах, народовольцах, о тех же земских врачах, учителях? Разве это не красивые, в полном смысле слова, люди?

Если же говорить о сегодняшнем бытии, то ясно, что, так сказать, сотворение нового русского поля, нового лика русской земли — а ведь в этом смысл грандиозного плана по преобразованию Нечерноземья — нельзя осуществить без сотворения нового человека.

— Но проблема нового человека стояла перед советской литературой с самого начала.

— Верно. Однако теперь новый человек задает писателям свои загадки. Обратимся к нашим дням. Сегодня главная беда многих — полуобразованность, прикрытая «корочками» дипломов. Всеобщее образование, радио, телевидение, печать, туризм несомненно приобщают современных людей к культуре, как никогда, легко и быстро. Но это приобщение, к сожалению, нередко падает на плохо подготовленную почву и носит поэтому поверхностный характер потребительского знакомства. Одним словом, доступность не всегда располагает к глубине усвоения культурных ценностей. Здесь нужны твердые духовные устои. А то получается, что все у нас как будто грамотные, информированные люди, а на поверку — культурно, духовно развиты гораздо меньше,

чем иные из стариков и старух, у которых духовность заложена в крови, покоится на испокон веков существовавших в народе и передававшихся из поколения в поколение нравственных принципах совестливого отношения к труду, природе, детям, к другому человеку. Вы скажете — патриархальщина! Многие нынче клянут ее как устаревшую систему этических норм. Надо, безусловно надо видеть узость и ограниченность патриархальности, но в ней было и свое положительное начало. Не ради пустого чудачества придавал Л. Толстой такое большое значение нравственным принципам, исторически сложившимся в крестьянском миропонимании и самосознании. А сегодня вопрос о прошлом — это и вопрос о духовных ценностях, которые вместе с отжившими формами жизни подчас недопустимо и непоправимо уходят в небытие. Мы не можем себе позволить быть Иванами, не помнящими родства. В этом отношении у нас уже были очень большие и печальные по своим последствиям издержки. Этого забывать нельзя, как нельзя забывать и первостепенной важности воспитания духовной культуры, настоянной на высокой нравственности человека.

— Текущая литература отличается повышенным интересом именно к нравственной проблематике.

— Так-то оно так. Только позвольте спросить, а когда наши писатели уходили от нравственных проблем? Никогда! Обратимся к литераторам — от Л. Сейфуллиной до В. Овечкина, чье творчество, казалось бы, насквозь социально. Но, право же, в их произведениях этического содержания гораздо больше, чем у некоторых современных авторов, на знамени которых вызывающе и, я бы сказал, зазывающе начертано: «Нравственность!» У меня вообще такое впечатление, что в сегодняшней литературе образовался некий перекос. Под видом усиления нравственных аспектов она порой уходит от постановки больших гражданских проблем. Наша отечественная литература всегда была сильна своей гражданственностью. И не важно, о чем написано произведение. Будет ли это роман о любви или публицистический очерк об экономике, науке, производстве. Оно окажется нравственным, если поведет разговор о жизненных позициях человека, сумеет его духовно возвысить, идеологически вооружить. К сожалению, литературная критика и литературоведение нередко поддерживают писателей, жонглирующих понятиям «духов-

ность», «нравственность», не замечают спекулятивности их обращения к так называемым «личным» темам.

— *Однако известно, что спекуляция возникает тогда, когда есть дефицит. Не правда ли?*

— Правда. И правда на сто с лишним процентов. Современный читатель, все мы сегодня остро нуждаемся в тщательном исследовании внутреннего мира людей, потому что стоим перед задачей великого обновления всей нашей жизни, возрождения деревни, подъема сельского хозяйства, реконструкции производства. Все это, казалось бы, чисто экономические задачи. Для их успешного решения нужны материальные средства, новая техника. Но я уже говорил, что решение практических задач немыслимо без толковой организации всего нашего духовного хозяйства. Любое дело начинается с человека и кончается им. Поэтому надо быть особенно придирчивыми там, где речь идет о вмешательстве во внутренний мир личности. Не попустительствовать никакой спекуляции на больных и острых вопросах времени. Бережнее относиться к старине как бесценному духовному опыту нации. Это нива, на которой выросла вся наша этика, язык, культура. Мы, литераторы, обязаны заботиться о том, чтобы не запахать эти ценности вместе со старым полем, органично и полноправно включить их в духовный мир нынешних и будущих поколений.

— *Русская литература никогда не пренебрегала воспитательной функцией, видела в ней свой первейший гражданский долг. Но из всего многообразия нравственно-воспитательных проблем каждое время выбирает и выделяет все же наиболее для себя важные. В этом отношении имеются, видимо, неотступные задачи и у нашего времени. Каковы они, по вашему мнению?*

— Меня часто причисляют к бытописателям. Но это верно лишь отчасти. По натуре своей я скорее художник-дидактик. И воспитательная возможность искусства для меня по-особому привлекательна. Я верю в великую преобразующую силу художественного слова и не боюсь, что при этом впадаю в известный штамп.

Что касается насущных задач литературы наших дней, то сейчас, по-моему, нет у нее более важной и ответственной задачи, чем воспитание в человеке социальной и гражданской активности. Повторяю, ничто так не ненавистно мне, как пресловутое «мы ничего не решаем». За этими словами скрывается трусость, равнодушие, лень. Не оправдываются ли этой ходячей форму-

лой собственное малодушие, эгоизм? Человек многое может. И это доказала война. Да вся наша история! Жизнь на местах — и это я готов твердить с утра до ночи — во многом зависит от нашей собственной активности. Гражданская инертность, пассивность и связанная с ними бесхозяйственность — таковы, по моему глубокому убеждению, главные наши недостатки, преодолению которых литература должна помогать всеми своими силами.

— Понятие социальной активности человека достаточно сложное. Среди всех ваших героев как-то по-особому запоминается, западает в душу Милентьевна из повести «Деревянные кони». И привлекательна эта старая русская крестьянка как раз своей неуемной активностью духовной жизни. Милентьевна — это воистину человек-свеча. Она не только сама смолоду до старости трудилась без отдыха, чтоб жизнь была по возможности полной, светлой, красивой, человеческой, но и в окружающих возбуждала эту же жажду деятельного преображения бытия, нежелание мириться с существованием кое-как. Но, может быть, в наши дни уже мало активности такого рода? Недаром ведь Михаил Пряслин к концу повествования начинает сознавать, что для утверждения разумного и доброго миропорядка, исключающего всякого рода волюнтаристские эксперименты над деревней, он должен был не только всю жизнь честно, безотказно трудиться, но и как-то иначе, более решительно, что ли, вмешиваться в ход жизни на селе. А что думаете вы на этот счет? И согласны ли с критиками, которые в последнее время так настойчиво упрекают всех пишущих о современной деревне в недостаточном будто бы внимании к социально активному герою?

— Ох, не хотелось бы мне ввязываться в этот разговор, видит бог — ведь сейчас что-то вроде суда идет над так называемой деревенской прозой, а я сам «деревенщик», — ну да уж коли заговорили, не в моем характере уклоняться. Ничего не понимаю! То хвалили-хвалили деревенскую прозу, за передовой отряд современной литературы выдавали, а сегодня — все у «деревенщиков» худо: НТР — а ныне это главный аршин у литературных закройщиков — не углядели, целину прохлопали, до социально активного героя не доросли, вместо современности — заскорузлая патриархальщина; язык, который всегда считался сильной стороной «дере-

венщиков», засоряют диалектизмами и всяким иным словесным мусором... Еще чего? Да всего и не упомнишь. Но вот что удивительно — кому же все это адресовано? Белову, Евг. Носову, Залыгину, Солоухину, Распутину, Можаеву?

Молчок.

Так что же это за мифические «деревенщики»?

Но ладно, имена, допустим, из вежливости не назвали.

Ну, а по существу? Вот хотя бы вопрос о так называемом социально активном герое. Так ли уж нет оного в деревенской прозе? Так ли уж все персонажи деревенских рассказов и повестей погрязли в непролазной косности и болоте обломовщины? Наконец, сами авторы — сами «деревенщики». Уж их-то не назовешь социально пассивными, правда? Ведь если кто и ставил в нашей литературе за последние двадцать лет проблемы общенародного, общегосударственного значения, если кто и будоражил человеческие души и умы, если кто и принимал всем сердцем беды и боли своей страны, так это прежде всего вышеупомянутые товарищи. Так? Согласны?

И еще один вопрос из реестра «недостатков», часто отмечаемых критиками, — вопрос об этой самой НТР: «деревенщики»-де просмотрели научно-техническую революцию.

А по-моему, именно «деревенщики» как раз и заговорили первыми, и заговорили глубинно, с пониманием об НТР.

НТР — это реакторы, счетно-вычислительные машины, промышленные новостройки, гиганты ГЭС. Так?

Но самой большой, самой главной площадкой, самым главным полигоном НТР, если можно так выразиться, стала деревня — вот чего не понимают иные критики. Ведь под влиянием небывалого вторжения новейшей техники и науки что́ сегодня происходит в деревне? Начисто, в корне перекраивается все: производство, быт, само жилье, сама деревня и даже сам лик земли, сам рельеф страны. Было из века в век, идущее еще от средневековья, мелкополье с бесчисленными перелесками, холмиками и горушками, ручьями и мочажинами, а сегодня задача — создать такие поля, где бы самая новейшая техника разгуливала без помех.

А души человеческие, сердца? Да вместе с пашней — кстати, изрядно задичавшей за последние годы, зарос-

шей кустарником — и сердце крестьянское стало полем битвы.

Я вот прошлым летом ходил-бродил по Новгородчине. Идешь: одна деревня мертвая, другая без единой души, с пустыми глазницами окон. А ведь из этих окон еще недавно живые лица на белый свет глядели, под этими кровлями рожали и жили, работали и умирали. Так как думаете: не было тут слез, когда покидали эти дома, не было драм и трагедий?

Да НТР — это всем революциям революция. Глубже пашет, чем даже коллективизация. Россия прощается, и прощается навсегда, со своей тысячелетней избяной историей. И что плохого в том, что иной раз при этом обронят слезу? Мать родную, не мачеху, провожаем в последний путь. Мать, молоком которой вскормлена и вспоена вся наша национальная литература, наш язык, наша этика.

НТР — великое благо, но благо, которое нередко утверждает себя через слезы, через горе людское, через обрыв и разрыв корней. А может ли древо жизни быть вечно зеленым и плодоносить, если у него подорвана корневая система? И не случайно сегодня все народы такое внимание проявляют к своим корням, к своим истокам. И это тем более важно для нас, потому что Россия стоит на великом перевале своей истории.

Да что на эту тему распространяться? Кому не ясно, что без духовных ценностей, накопленных прошлым, — ну никуда! В Великую Отечественную вся живая Россия была поставлена под ружье, да нам пришлось отозвать с вечного отдыха еще и наших великих предков. И неплохо, ох как неплохо поработали Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов!

— *Летом минувшего года в районной газете «Пинежская правда» было напечатано ваше, Федор Александрович, открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся». Не случайно затем его перепечатала «Правда»: в нем остро поставлен вопрос о некоторых негативных явлениях, подмеченных вами в жизни родной деревни Верколы. Радуясь значительному улучшению материальной стороны современного деревенского быта («209 рублей — средняя заработная плата сегодня в Верколе... свыше 100 новых домов построено за последние десять лет в нашей деревне... Да каких домов! Просторных, светлых, благоустроенных — с электричеством, с холо-*

дильниками, с телевизорами и даже с телефонами — любой горожанин позавидует»), вы одновременно обращаете внимание на то, что все это отрадное обновление происходит в основном за счет государства. Между тем сами крестьяне не только не проявляют необходимой инициативы, но даже утрачивают былое свое добросовестное, хозяйское отношение к земле, ко всему деревенскому обиходу. С горечью говорится в письме о том, что у ваших земляков словно «исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием?». Вместе с тем в письме признается, что в деревне нет недостатка в работящих, талантливых и совестливых тружениках, у которых «болит сердце, когда видят сгноенное сено, погибающих телят, пьяных подростков». Но беда в том, что люди эти не пытаются вмешаться в ход жизненных событий, повернуть его по-своему, разумно, по-хозяйски. «Но почему не слышно, — спрашиваете вы, — их требовательного голоса? Почему никто из них не хочет идти в бригадиры, в управляющие? Почему они даже детей своих взрослых отговаривают от участия в управлении хозяйством?»

Слов нет, письмо бьет по самым больным местам современной деревни. Оно никого не может оставить равнодушным. Но как отнеслись к нему ваши земляки? Приняли его горькую и беспощадную правду? Поняли пафос, направленный против общественной пассивности и равнодушия? И, главное, только ли Веркола узнала себя в вашем тревожном письме?

— Признаюсь, я опасался — правильно ли поймут меня земляки, не вызовет ли письмо обиды. Ведь в одном же доме живем, нету для меня житья без родной Верколы.

Но этого не случилось. Письмо наделало много шума в районе — и шума доброго, полезного. Оно обсуждалось на специальной сессии сельсовета, на сельских сходах района. Было перепечатано газетами других районов и там тоже не прошло незамеченным. Должен сказать, что немалую поддержку оказал мне первый секретарь Пинежского РК КПСС. Умный, деловой чело-

век Михаил Григорьевич Поздеев. Район в минувшем году по хозяйственным показателям на первое место в области вышел — да о каких недостатках может быть речь?! А Михаил Григорьевич, как только я поделился с ним своим замыслом, сразу ухватился: пишите. Попробуем использовать как новую форму идеологической работы. Вот такой подход, партийный подход к писательскому слову, меня просто воодушевил. Людям надоели штампы, надоели казенные речи, а слово писателя на Руси всегда высоко ценилось. Поразительно, с какой быстротой разошлись сведения о письме по разным весям и градам. «Молвлено на Пинеге — аукнулось по всей стране», — пишет мне читатель из Калинина. Но, конечно, самой радостной для меня реакцией была реакция земляков-однодеревенцев. «Вот теперь мы знаем, что ты не зря писателем прозываешься», — простодушно выразилась одна старуха. Но был и упрек, упрек почти единодушный: покруче бы надо, пожестче. И это, должен сказать, радостно больше всякой похвалы, потому что это значит — люди наши не утратили чувства самокритичности и требовательности к себе, жив в них дух святого недовольства, а раз так — значит, есть готовность бороться за обновление жизни.

— *Писатель и читатель, писатель и критика. Эти отношения, как известно, бывают и нелегкими, и неоднозначными, и непостоянными. А каковы они у вас? Как оцениваете вы современное состояние нашей литературной критики? И какую роль играет читатель в вашем литературном труде?*

— Не скажу, что настоящих критиков сейчас нет. Лучшие из них — люди со своим взглядом на жизнь и человека, и даже — что бывает совсем редко — со своим словом. И все-таки критика сегодня, что называется, не вдохновляет. В массе своей она зачастую плетется в хвосте.

— *В хвосте литературы? Или жизни?*

— И того, и другого. Назовите мне острые проблемные статьи последнего времени, которые расшевелили бы общественное мнение, стали предметом повсеместных обсуждений, яростных споров! Я что-то таких статей не помню. Уклончивость в оценках, беззубость, желание никого не задеть, не обидеть, а иногда просто уход от прямого разговора с читателем — вот что показательно для текущей критики за редкими исключениями. Возьмите эти пресловутые два мнения об одной книге, кото-

рые уже сколько лет в ходу у «Литературной газеты»! На первый взгляд, за такой формой подачи материала стоит широта мысли, сложность подхода. А на самом деле? Не есть ли это уход от определенности оценок?

Но самый большой грех — критика, как правило, не выверяет литературу жизнью. Поэтому сегодня можно говорить о существовании эстетической, нравственной критики, но реальная критика, которою всегда славилась наша общественно-художественная мысль? Где она? Если судить по большинству печатаемых статей, наши критики просто не знают реальной жизни, судят о ней понаслышке, по ходячим штампам и формулам. В особенности это относится к тем, кто касается жизни деревни и литературы о ней. Впечатление такое, что критики не сходят с асфальта на землю. Им бы внять совету покойного А. Яшина и пройтись «босиком по земле»!

Другой недостаток вижу в рецидивах проработнического зуда, который вдруг одолевает иных критиков. Я принадлежу к тем писателям, которые охотно прислушиваются к любым, самым строгим замечаниям, если в них видно понимание твоего замысла, твоей идеи, если, наконец, просто идет серьезный разговор о литературе и о жизни, пусть и не в твою пользу. Но что порой бывает? Разносят произведение с позиций псевдожизни, с позиций вульгарно-социологических схем, когда художественное произведение уподобляется экономическому трактату. Вот это недопустимо. Это жульничество, прием, который в спорте называют ударом ниже пояса, — ведь не по неведению же это делается! Понятно, что такая критика продиктована всем, чем угодно, но только не заботой о литературе. А главное — такая критика сбивает с толку читателя, прививает ему примитивное представление о том, что такое литература.

Не могу не выразить своего недовольства и заметным распространением критики, которую я бы назвал кустарно-структуралистской. Читаешь иную критическую работу и видишь — идет какое-то искусственное накручивание терминов, профессиональное словоблудие! Попробуйте перевести иные критические упражнения на обыкновенный человеческий язык, и вы увидите, что там нет никакого содержания — одна словесная труха.

Отсутствие реальной критики лично мне восполняют письма читателей. Я получаю их множество и испытываю лишь одно неудобство — трудно на все ответить,

хотя я это и стараюсь делать. Я вовсе не идеализирую нашего читателя. Он бывает всякий. Есть в письмах и наивность, и невежество, и младенческое неведение в вопросах жизни и литературы. Но есть читатель смелый, умный, думающий. Какая гражданская озабоченность судьбами природы, национальной культуры! А сколько истинно патриотической заинтересованности в делах страны, родной земли, сколько неподдельного желания сделать нашу жизнь лучше, краше! Много пишут, например, о настоящем и будущем русского леса. Не секрет, что на Севере идут слишком интенсивные лесозаготовки. Иногда допускается удручающая бесхозяйственность, леса выкашиваются как трава. Лес беззащитен перед мощной нынешней техникой. И я, как и другие писатели, получаю потоки писем, кричащих в защиту леса, требующих: «Спасите лес! Поймите, писатель, что вопрос о лесе — это вопрос о русской земле! Загубим северный лес, и будет она трястись в ознобе от арктических холодов, которые пойдут гулять от Ледовитого океана до Черного моря!»

И я мог бы привести еще немало примеров подобных писем.

Письма таких читателей — самая высшая для меня награда. Они помогают в трудные минуты жизни. А их у меня, как у писателя, бывало и бывает немало. И письма всегда служат поддержкой. И я хочу воспользоваться нынешним случаем и сказать своим читателям большое русское спасибо!

Вместе с тем иногда я жалею, что письма, которые адресованы лично мне, не посланы читателями в министерства, ведомства, в партийные организации, от которых часто зависит практическое решение вопроса. И в этой связи мне хотелось бы упомянуть о письме одного читателя, который даже мои писания, в частности открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся», называет «благими пожеланиями», «гласом вопиющего в пустыне», ибо, как он выражается, «от вас не зависит практический ход дел». По его мнению, основанному, видимо, на личном опыте, предложения, рекомендации и советы, если они исходят от частных лиц... никогда не будут приняты к руководству и исполнению.

Думаю, автор этого письма не совсем прав, хотя, наверное, такие суждения порой имеют под собой почву. Вред же их очевиден. Они кругами расходятся вширь и содействуют распространению того микроба равно-

душия, который опаснее и страшнее любых вирусных заболеваний.

Я сказал, что читатель бывает разный, как, впрочем, и писатель. Но я еще хочу решительно возразить тем, кто при каждом случае козыряет превосходством нашего читателя над зарубежным. Факты? Недавно я объездил чуть ли не всю Германскую Демократическую Республику, где участвовал, наверное, в добром десятке читательских конференций. И должен сказать, меня поразила любовь к книге в ГДР, поразила гражданская острота и зрелость суждений о жизни, содержательность вопросов о литературе, которые мне задавались. Признаюсь, такое далеко не всегда встречаешь на наших читательских конференциях. И тут опять-таки немалая вина той критики, которая культивирует примитивно-тематический подход к литературе, ограничивается пересказом произведений.

— *Федор Александрович, я знаю, вы часто бываете за рубежом, а совсем недавно были в Америке. Расскажите немного о том, как относятся там к нашей литературе.*

— Ну, прежде всего не надо представлять дело так, что у нас сплошное процветание в литературе, а там все погрязло в маразме, порнографии и т. д. Что говорить, в Америке все это есть, но в Америке же есть и большая литература. И, следовательно, там есть не только оболваненный, застандартизованный, средний американец с кроличьими мозгами, но и думающий писатель, и думающий читатель, — на неудобренной почве хорошего урожая не бывает.

Но правда и то, что у нас часто пишут насчет тощего духовного багажа американца. Вот я, например, встретил в Сан-Франциско двух адвокатов, один, кстати, даже русского происхождения. Адвокаты процветающие, лет сорока — что называется, в самом расцвете физических сил и интеллекта. И что же? Шолохова не читали. Я попервости не поверил, думаю, ерунда какая-то, живой фельетон. «Ну, а как с Фолкнером обстоит у вас дело? — спрашиваю. — Фолкнера-то, своего соотечественника, читали?» И Фолкнера не читали. «Но вы же адвокаты, — говорю, — вам же для дела это надо». Оба непонимающе переглянулись. «Да как же, — говорю, — вы в душе-то человеческой разбираетесь без художественной литературы?» — «А, — говорят, — вы вот о чем! Ну, тут у нас ол райт, хорошо дело постав-

лено. Скажем, — это говорит англосакс, — я вел дело об убийстве старой владелицы одного большого магазина, мне в конторе подобрали всю художественную литературу с криминалистским уклоном, и в том числе там был ваш Достоевский — «Преступление и наказание». Правда, книга очень пухлая, и я прочитал только специальные главы».

Вот вам один тип американца, тип просто анекдотический. А вот вам другой — полная противоположность. Двадцатисемилетний переводчик, с которым я почти целый месяц ездил по стране, социолог по специальности. Все читал. И разговоры с ним — о социализме, о марксизме, о современных течениях в общественной мысли Америки и Европы — это одно из самых ярких впечатлений за всю поездку по США. Так что разные люди за границей встречаются, как, впрочем, и у нас.

Но вот что хочется сказать: западный человек, как правило, очень хорошо знает свое дело. Он может не знать классиков мировой и отечественной литературы, в разных «эмпиреях» не плавать, но что касается дела — дока. У нас, к сожалению, нередко бывает как раз наоборот. Человек обычно знает все, что не относится к его делу, и часто буксует в своем конкретном деле. В мире конкуренции, повторяю, это решительно исключено.

Коснусь напоследок еще одного вопроса — о духовности. Вопроса наимоднейшего — кто нынче не трезвонит о духовности? Но и наиважнейшего: куда же без духовности?

Так вот, отнюдь не перечеркивая всевозможных достижений других стран, я все же должен сказать: у нас, по-моему, побольше этой самой духовности. Не перевелись еще «русские мальчики», известные по литературе девятнадцатого века, которых хлебом не корми, а дай поговорить о «мировых» проблемах. За границей в человеке больше прагматизма. И, может быть, потому меня всегда так тянет домой. Ведь это же курам на смех, но я, в кои-то поры выбравшись в Америку, на три дня раньше положенного срока укатил домой. А может, тут дело вовсе и не в духовности. Может, тут все дело в том, о чем давным-давно сказано: «И дым отечества нам сладок и приятен». Может быть.

1980

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СУДЬЯ — СОВЕСТЬ

Выступление на телестудии «Останкино»

Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Я рад встрече с вами. Я рад встрече с нашим многомиллионным советским телезрителем. Но видит бог, я не рвался на эту высокую сцену.

И прошло немало времени, прежде чем я дал согласие. Я не артист, я не поэт, я не эстрадник. И, конечно, — чувство страха: смогу ли я занять вас целый вечер, овладеть вашим умом и сердцем, не наскучу ли вам?

Меня подбили на это, прямо скажем, рискованное предприятие письма читателей. Я получаю довольно много писем от наших читателей. Читательские письма, как ручьи, как реки, вливаются в мою жизнь отовсюду, со всех концов нашей страны. Они несут радость, в них боль, в них заботы, горести. В общем, все то, чем живет наш советский человек, наши люди.

И раньше для меня было непреложным законом: многие, многие годы отвечать на каждое, на каждое письмо. Но в последнее время то ли потому, что уже лета не те, то ли потому, что силенок стало меньше, то ли прибавилось всякой сутолоки, суетни заседаний, собраний и так далее, я стал некоторые письма опускать.

И вот сегодняшний вечер мне прежде всего хотелось бы рассматривать как вечер моих ответов на те письма, на которые я не ответил. Ну, и, разумеется, на те вопросы, которые предложите вы.

Предваряя ваши вопросы, которые, я надеюсь, будут, я отвечу сразу же на один вопрос, который обычно встречается в каждом письме и на который обычно не отвечаешь: кто ты родом, откуда? Как пришел в эту жизнь? И, разумеется, как стал писателем?

Я родился в красивейшем месте России, для меня, конечно, красивейшем. В Архангельской области, в селе Веркола, на реке Пинеге. В краю белых ночей и бескрайних лесов, к сожалению, ныне немало поределых. В краю былин и сказок. Конечно, жизнь моя поначалу складывалась совсем не сказочно. Большая, многодетная крестьянская семья, ранняя безотцовщина. Заботы, постоянные заботы о куске хлеба насущного. Но, конечно, были в моем детстве, в моей юности свои радости.

И прежде всего это учеба, до которой я был великий охотник. Мне удалось после окончания средней школы поступить в Ленинградский университет. В 1938 году, когда мне было восемнадцать лет и когда первый раз я встретился с городом — это был Архангельск, столица нашего Севера, я получил первые впечатления о большой цивилизации. Помню, мне ужасно не понравилось городское многолюдье. Поразил мое воображение паровоз, который я тоже впервые увидел в жизни. И страшно не понравилась опера «Евгений Онегин». Не понравилась потому, что я, как всякий разумный человек, нормальный человек (так я считал) привык к тому, что люди, общаясь друг с другом, говорят обычными словами, а тут обращаются с песнями друг к другу. Это мне казалось крайне неестественным.

Отечественная война застала меня на третьем курсе Ленинградского университета. Ну, вполне понятно, что я, как все наши ребята, все мои товарищи, сразу же записался в народное ополчение. Был великий тогда патриотический подъем среди молодежи, среди ленинградцев. Воевал под Ленинградом. Был дважды ранен. Второй раз очень тяжело. Самые тяжелые дни блокады пережил в Ленинграде. Потом эвакуация на Большую землю по «Дороге жизни» через Ладогу. Окончил университет в 1948 году. Потом аспирантура. Защитил кандидатскую диссертацию и работал в Ленинградском университете. Старший преподаватель, доцент. Последние шесть лет заведовал кафедрой советской литературы. В 1958 году я написал (на свою беду или на свое счастье) первое свое художественное произведение — роман «Братья и сестры». И это предопределило, решило всю мою дальнейшую судьбу. В 1960 году, через два года после окончания этого романа, я покинул университет и перешел на вольные хлеба.

Как стал писателем?

Хотя я родился в таежной, в лесной глуши, в четырехстах километрах от ближайшего города, но имя писателя для меня всегда, с малых лет, было окружено ореолом особого почитания и особой славы. Короче говоря, для меня никогда не было более высокой должности на земле, чем писательская. И, естественно, мне хотелось испробовать свои силы, я тянулся к слову. Но я из крестьянской патриархальной семьи, где смелость не очень поощряется. Короче говоря, я очень робел и только в 1950 году, под давлением своего друга

(мы как раз отдыхали в то лето на одном хуторе Новгородской области), я начал писать первые главы своего будущего романа «Братья и сестры».

Начал я сразу с самой большой литературной формы — с романа. Обычно начинают с очерка, с рассказа. Ну, в лучшем случае, с повести. Но мне казалось, аспиранту второго или третьего курса просто как-то несолидно начинать с какой-то малой формы. Этим объясняются мои сложности. Я сочинял свой первый роман целых шесть лет. В великой тайне от всех. Нынче, как только появляется товарищ, у которого влечение к слову, он сразу же объявляет о том, что он занимается литературой, и требует соответствующего к себе внимания. Я — наоборот, я всячески скрывал. И о том, что я что-то делаю, знали два-три самых моих ближайших человека. И вот я окончил роман. Два года его отфутболивали редакции. Носил его и так и этак. Потом случайно мне повезло, и роман опубликовала «Нева». Это было в 1958 году. И это — первый случай, когда мой роман, мое большое произведение было сразу же принято доброжелательно. И читателем, и критикой.

Два года я колебался, думал, что мне делать, как быть... Но потом стало ясно, что раздираться между литературой и наукой невозможно. И я очертя голову бросился на новую стезю.

Вот и все, что касается моих анкетных данных. А теперь позвольте сразу же перейти к ответам.

— *Федор Александрович, скажите, пожалуйста, а кто из ваших учителей оказал на вас самое большое влияние?*

— Ну, я даже немножко растерян, потому что надо было бы начинать, может быть, разговор с литературы, но начнем с этого. Человек — это произведение чьих-то рук. И в самый раз мне начать с учителей.

Скажу так: человек — это и учителя, и ученики. У каждого человека очень много учителей. Да, в общем, до последнего дня жизни, хочет он то признавать или нет, он учится. Ну, и у меня, конечно, тоже было очень много учителей. В общем, делали меня многие люди, начиная с детства. Были неграмотные учителя, которые оставили большой след в моей жизни. Были очень грамотные, были профессора знаменитые, были академики; мне приходилось встречаться в жизни немало с крупными художниками, с выдающимися нашими советскими художниками, с артистами, с композитора-

ми. В общем, много, много было учителей, и эти учителя есть в моей жизни и сегодня. Причем речь даже не идет о возрасте. Учителя бывают и весьма солидные, старше меня по возрасту, но бывает и молодежь. И воздействие этих учителей из молодежи бывает не менее полезным для тебя, чем слово старших.

Так вот, если говорить об учителях всех периодов (разумеется, всех невозможно перечислить), я бы отметил двух человек, которые оказали на меня если не решающее воздействие, то очень большое влияние. Первый человек — это моя родная тетушка Иринья, старшая сестра моей матери. Это была старая дева, малограмотная, что называется в народе «христова невеста». Швея, со своей старенькой, разбитой машинкой «Зингер» она обходила, обшивала всю нашу большую деревню...

И приход ее в каждый дом был великой радостью, потому что вместе с тетушкой Ириньей в дом входил свет, входила благость, входила святость, входила доброта, само милосердие, бескорыстие. И люди на глазах добрели. В семье прекращались, кончались всякие ссоры. И на неделю, иногда на десять дней, иногда на две недели, в зависимости от количества пошива в этом доме, воцарялось нечто вроде рождества Христова или пасхи, какой-то благоговейной тишины, какой-то удивительной красоты, доброты и сердечности.

Тетушка, конечно, у меня была очень религиозная, староверка. И она была начитанна, она прекрасно знала житийную литературу, она любила духовные стихи, всякие апокрифы. И вот целыми вечерами, бывало, люди слушают, и я слушаю, и плачем, и умиляемся. И добреем сердцем. И набираемся самых хороших и добрых помыслов. Вот первые уроки доброты, сердечности, первые нравственные уроки — эти уроки идут от моей незабвенной тетушки Ириньи.

Второй учитель, имя которого я тоже с благоговением и с трепетом называю, это Алексей Федорович Калинцев — учитель средней школы. Это был человек невероятно ярких способностей, как я сейчас понимаю, но окончил он всего лишь учительскую семинарию. И после учительской семинарии целиком себя посвятил работе на ниве народного просвещения, он пополнил армию тех, о которых у Некрасова сказано: «сеяли доброе, вечное». Алексей Федорович приехал к нам юношей на Пинегу и сыграл, конечно, выдающуюся роль в про-

свещении пинежского населения. Он вырастил не одно поколение учеников, детей. Были тогда времена другие — особой роли, особого места учителя в школе. Алексей Федорович не только учил детей. Он учил взрослых. Тогда была кампания ликбеза, ликвидация безграмотности среди взрослого населения. И, конечно же, во главе этого дела стоял Алексей Федорович. Алексей Федорович, конечно же, был во главе театра, самодеятельного театра. Он был естественник, химию преподавал, биологию, естествознание. Насаждение агрономических знаний среди крестьянства — конечно же, Алексей Федорович. И все, все, все — Алексей Федорович. Перед ним — таков уж был авторитет этого несравненного человека — благоговела вся Пинега. И бывало, когда в любой мороз, — а у нас морозы подходящие, и под сорок и за сорок, — проходит Алексей Федорович по главной улице райцентра, мужик, завидев его с той стороны, снимает шапку, обнажает свою лысину и кланяется. И, конечно, старуха тоже отдает дань почтения народному учителю.

Алексей Федорович по своим знаниям, подчеркиваю, мог бы быть известностью в науке, мог бы занять самую, мне кажется, лучшую кафедру в наших университетах. Но он предпочел удел народного учителя, удел бескорыстного, незаметного для других и мало поощряемого деяния. Я надеюсь, что его имя будет должным образом увековечено на нашей родной Пинеге.

Вот это мои самые главные учителя.

— *Как вы относитесь к театральным постановкам ваших произведений, в частности по роману «Дом»?*

— Ну, я не обижен вниманием театров, все мои крупные вещи идут на сцене или даже на сценах, можно сказать. На сценах отдельных театров. Первая, самая дорогая для меня вещь, которую я всегда вспоминаю с особым счастьем, — это «Деревянные кони» на Таганке. На моей любимой Таганке...

Конечно, было жутковато, были опасения. Произойдет ли нужная, необходимая стыковка? Получилось! И мне кажется, получился очень, очень неплохой спектакль, который идет и поныне, идет восьмой или девятый год... Здесь мы увидели великолепных артистов: Аллу Демидову, нашу прославленную Зинаиду Славину, Ивана Бортника, великолепного артиста Юрия Смирнова, Галину Власову. Но с особым теплом, с особой нежностью я хотел бы сказать о Татьяне Жуковой. По-

тому что именно в этом спектакле для широкой публики, для театральной общественности открылась талантливо, многогранно очень талантливая артистка Татьяна Жукова, она играет сразу две очень разные роли в спектакле...

С особой нежностью я вспоминаю о другом своем спектакле, о спектакле студенческом «Братья и сестры», которые шли пятьдесят раз на сцене Театрального института в Ленинграде. Об этом стоит рассказать, потому что это разговор о нашей театральной молодежи, о театре сегодняшнем и о театре будущего. И вообще об отношении к молодежи. Все, что связано с этим театром, с этим коллективом, у меня всегда вызывает чувство особой нежности и особого восхищения.

Однажды, помню, я был в Доме писателей под Ленинградом, приезжают ко мне три девчушки: «Федор Александрович, мы приехали за разрешением, хотим ставить ваших «Пряслиных». Я говорю: а кто это вы? «А мы — студенты Театрального института. Мы хотим дипломную работу по вашим произведениям ставить». Я говорю: как же так? Обычно начинаются разговоры автора с представления руководства, хотя бы ваших преподавателей. «А у нас, Федор Александрович, так устроена жизнь. У нас республика. И каждый студент курса исполняет сегодня обязанности руководителя, а завтра исполняет обязанности подчиненного. Вот сегодня пали обязанности руководителей курса на нас, поэтому мы приехали к вам».

Я говорю: хорошо. А вы деревню знаете? «Нет, деревни мы не знаем. Но у нас Сергуня (Сергуня — это студент, очень талантливый студент, как я потом узнал, Бехтерев) каждый год ездил к бабушке в деревню». А все остальные? Тут меня начинает, понимаете ли, немножко заводить и заводить... А почему вы вообще остановили свой выбор на «Братьях», на моих произведениях, это же довольно серьезно? «Вот нам как раз ваши произведения и понравились серьезностью». Мне это было лестно, но я сразу же одумался, я начал кричать на них. Я чуть ли не затопал ногами, потому что — ну что это такое? Понимаете ли, какие-то желторотые соплюхи и хотят играть войну, хотят играть трагедию русской бабы. Да вы что, с ума сошли?! Но они, в общем, с ума не сошли, они пришли ко мне еще раз, второй, третий раз, и я, короче говоря, сдался. Но поставил им условие, что, прежде чем браться за эту вещь, необ-

ходимо познакомиться с деревней. Ну, они познакомились.

Тем же летом они приехали ко мне в родную деревню. Получайте! Приехали всем курсом. Это лето оказалось одним из самых восхитительных в моей жизни. Ребята действительно очень многому научились, подержали в руках топор, косу, поездили на лошадях, покосили, порубили, повалили лес... На лодках сами ездили, рыбачили. А главное — послушали живую речь, послушали старух, пообщались со старухами-солдатками, услышали песню народную. И главное — это была первая их встреча с глубинной народной Россией, по-настоящему они приняли в себя боли и беды своей страны.

Короче говоря, спектакль получился. Спектакль получился необычайно яркий, вне всяких канонов. Потому что с точки зрения жанров там все, все смешано: и трагедия, и драма, и мелодрама, и опера, и оперетта, и народный балаган. И все это работает удивительно.

Но, конечно, тут немалая заслуга преподавателей, режиссеров — преподавателя Аркадия Кацмана и другого, ныне известного очень многим, одного из самых талантливых молодых режиссеров — Льва Додина. Это их воспитанники. И ребята сыграли драму братьев и сестер только благодаря тому, что основы братства, основы коллективизма были уже заложены на курсе. Ну, и, наконец, они от людей, от живых людей вобрали в себя боль и все беды, которыми жила военная и послевоенная деревня. Получился прекрасный спектакль. Я все думал, что на базе этого спектакля непременно будет создан молодежный театр в Ленинграде. Потому что все есть: отличный коллектив нравственной чистоты, требовательности к себе и к людям, работающий и живущий по самому большому счету, великолепные педагоги, хорошие режиссеры. Наконец, спектакль-то «Братья и сестры» — спектакль с неким символическим и очень важным для нашего времени названием — единение, братство. Разве это мало? К сожалению, ничего из этого не вышло.

Откровенно говоря, я все еще тешу себя надеждой, что может быть, как знать, а вдруг да повернется колесо и на базе этого удивительного, этого великолепного курса еще возникнет, еще заработает новый молодежный театр, потому что настоящий театр — это величайшее событие в жизни. Он рождается очень и очень

редко. Нельзя просто сказать: сегодня, товарищи, мы создаем театр молодежный. Назначаем режиссера, набираем актеров, и так далее. Из этого ничего не выйдет. Это, как живой организм, складывается в больших трудностях. Очень сложно. Вырастает. Очень медленно набирает силы. И вот мне хочется, чтобы этот театр как-то еще заработал.

Я хотел бы сказать о последней постановке, уже постановке собственно «Дома». «Дом» идет на нескольких сценах. Он идет в театре Гоголя в Москве, идет в Архангельске, в Новгороде, в Ленинграде. А впервые он был поставлен в Ярославле. И что удивительно — все эти спектакли идут по разным сценариям. Лично мне ближе всего, ближе всего к моему роману, постановка, осуществленная режиссером Львом Додиным в Малом драматическом театре в Ленинграде, на улице Рубинштейна. По-моему, это хороший спектакль. Боевой, гражданский, оптимистический, насыщающий зрителя жизнелюбием и желанием бороться за добрые дела. Там хорошее оформление великолепного нашего художника ленинградского, Кочергина. Артистка Евдокия Быкова очень хороша. Но совершенно удивительная, ну просто заново родилась талантливейшая артистка — это Татьяна Шестакова, исполняющая роль Лизы. Я ее без слез, без какого-то особенного эмоционально повышенного состояния просто смотреть не могу. Очень хорошо играет Михаила Николай Лавров. Ну, да всех просто не перечислишь. Хороший спектакль!

Хорошо получается спектакль в Архангельске. Я недавно был там. Конечно, еще есть над чем работать, но основа добротная, и архангелогородцы, мои земляки, а это для меня особая радость, принимают спектакль хорошо.

Мог бы я сказать похвальные слова и о спектакле, идущем в театре Гоголя и о других, но я слишком пространно говорил...

— Федор Александрович, скажите, пожалуйста, что вы думаете о состоянии современной критики? Как вы относитесь к отрицательным отзывам о ваших произведениях и какой-из отрицательных отзывов вам наиболее запомнился и, может быть, даже понравился?

— Что сказать о критике? Я прежде всего скажу так: с моей точки зрения, критика — не самый сильный жанр нашей литературы, и, вероятно, это не случайно, хотя я должен сразу же сказать, что в нашей критике

работают великолепные мастера — со своим лицом, со своим почерком и со своим эстетическим настроем. Это бывает очень не часто. Я назову лишь некоторых критиков, чтобы это было небезымянно, причем буду говорить в порядке алфавита. Дедков живет в Костроме. Игорь Дедков — со спокойным, хорошим пером, человек думающий. Он думает о судьбах страны, это человек, который старается выверять произведения всегда теми процессами, которые происходят в жизни. Вот недавно появилась его статья в «Литературном обозрении» о молодых, о так называемой московской школе прозаиков, по-моему, совершенно великолепная статья. Дальше Игорь Золотусский. Золотусский — очень талантливый, один из самых наших талантливых критиков и вообще словотворцев, золотое перо у человека... Пишет всегда чрезвычайно остро, чрезвычайно горячо, темпераментно. И всегда можно узнать его письмо по нескольким абзацам. Я удивляюсь, что Игорь Золотусский до сих пор не написал о своем духовном наставнике, если позволительно так выразиться, о Белинском — это его автор. И мне кажется, что просто в темпераменте самого Золотусского есть яростность, злость и боль и увлеченность Белинского... Феликс Кузнецов. Просто, можно сказать, маршал литературы, одновременно потому, что он первый секретарь, а следовательно, глава московской писательской организации — это очень большое и сложное дело. Этого человека, этого критика отличает широта раздумий, особенно мне по нраву его работы, посвященные XIX веку, а сейчас по XIX веку пишется очень много. Его работы, посвященные борьбе идеологической, идейной и эстетической борьбе в литературе XIX века, мне представляются очень серьезными, работающими на сегодняшний день. Я не говорю о том, что он очень интенсивно работает в современной критике.

Лакшин. Лакшин сейчас занимается главным образом литературной, литературоведческой работой или, вернее, даже не литературоведческой, я имею в виду его большую работу об Островском. Это прекрасный критик, очень вдумчивый, яркий публицист, литератор.

Я с особой теплотой, с особой нежностью и признательностью хотел бы здесь сказать о критике Борисе Панкине. Борис Панкин как критик широко известен. Нет ни одной крупной литературной работы, по которой он не высказался бы, и не высказался бы весьма осно-

вательно. Это и Айтматов, это и Распутин, это и другие крупные наши писатели. Но я ему особенно признателен. Дело в том, что в 1968 году вышел в «Новом мире» мой роман «Две зимы и три лета». Ну, и дела складывались не лучшим образом. Долгое молчание критики, затем, как всегда, наскоки... Меня всю жизнь (это не секрет, это все знают) обвиняют в сгущении красок, в очернительстве, в нигилизме, в том, что я не вижу ярких штрихов нашей жизни, и так далее. И тут тоже начались наскоки на меня, и в это время в «Комсомолке» — а тогда Панкин был руководителем, главным редактором «Комсомольской правды», — выходит статья «Живут Пряслины!». Сразу Пряслины были выведены в первые ряды положительных героев, причем брал их на вооружение комсомол. Эта статья, конечно, придала мне огромные силы, она была большая, чуть ли не на всю газетную полосу. И о ней с восхищением говорил Александр Трифонович Твардовский, тогдашний редактор «Нового мира», который сразу же разыскал Панкина и завязал с ним трогательную переписку.

Хотелось бы мне назвать здесь еще критика, моего земляка, изучающего поэзию, — Александра Михайлова, очень плодовитого критика, и много знающего, и всегда пишущего с большим интересом. Но всех критиков не перечислишь...

Я вернусь к первому тезису: критики у нас есть, вот видите, сколько я назвал звезд. Но я по-прежнему повторяю, что критика, на мой взгляд, не относится к сильному жанру, к наиболее сильному жанру нашей литературы. Что меня не устраивает в критике? Ну, во-первых, как бы вам сказать, слова подходящего нет, вот такая мелкотравчатость, что ли, отсутствие зубастости, уж слишком много елея в нашей критике. Даже, понимаете, некоторые критики забыли само слово «критика», она вылилась у нас под пером некоторых в некий дифирамбический похвальный жанр, и это, конечно, не очень хорошо. Но самая главная моя претензия к критике — мало проблемных статей. Рецензий очень много, пишут очень много, критическая армия у нас очень большая. Но литература — это ведь всегда жизнь. И какова главная задача критики? Увидеть в самом литературном произведении те процессы, которые происходят в жизни, как они здесь преломлены и как они отражены. Об эстетической стороне литературы наши критики пишут очень неплохо, иногда даже очень хорошо. Но вот о жизни,

о том материальном субстрате, который породил эту литературу, — об этом, к сожалению, часто забывают или отделываются самыми общими фразами.

А как меня жалует критика? Ну, это тоже длинный разговор. Я уже говорил, как-то так получилось, что я, несмотря на то, что везде клянусь, что я хороший и добрый, но это не всегда доходит до критиков. И часто меня подозревали, ну я надеюсь, сейчас уже больше не подозревают в том, что я, дескать, нигилист и очернитель. Конечно, все это сущая чепуха. Мои претензии и мой разговор о жизни идут от одного желания, чтобы в жизни было лучше, а чтобы это было так — надо говорить о недостатках нашей жизни, а как же иначе лечить-то прикажете? Ведь это же первостепенная обязанность писателя. В меру сил своих я старался это делать. Повторяю, что не всегда меня понимали, были по поводу меня разные документы в печати, критические статьи и прочее. Хотя те произведения, которые критиковались раньше, сегодня записаны в актив советской литературы. И даже там, где раньше я был представлен как турист с тросточкой, там сегодня уже видят гражданственность и самую активную позицию автора.

Но это в порядке вещей. Я критикую, критикуйте и меня, почему же нет. Ну, конечно, критика неприятна, чего же, когда тебя ругают, радости мало, тут не надо в ханжество впадать, неприятно это. Но подумаешь — о чем там человек-то толкует? Прикинь. Да послушай, что люди вокруг говорят, которым ты доверяешь, а может быть, и в самом деле ты действительно наломал дров. Значит, сам и сделай из этого выводы. Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке, — вот это плохо.

Я считаю, например, моя лучшая работа, которую я сделал как писатель, это моя последняя работа — роман «Дом». Но, к сожалению, молчание и выжидание и, так сказать, присматривание косым глазом, — к этому я привык. И вдруг в одной уважаемой газете появляется статья, которая вообще ставит под сомнение состоятельность этого произведения. И это, конечно, не то что подрезало мне крылья, я бывал за свою жизнь в переплетах и не таких, но это на долгое время отвратило от романа... У нас же печать — это мощнейшее орудие. Даже иногда говорят: о, пусть он там пишет в газете... Позвольте, это не совсем безобидно: одно дело, когда правда, а когда дается неправильное толкование вещи?

Оно же расходится по всем весям и градам нашей необъятной страны. А у нас в стране, — и это, может быть, очень хорошо, — печать пользуется доверием, слову верят, как и раньше в старину, раз слово — значит, правильно. Вот это надо всегда людям, работающим в газете, в журнале, в прессе, учитывать, а в общем чего же мне на критику обижаться? Критикой я не обижен.

— Один критик написал о вас, что вы лечите болью, вы согласны с ним?

— Ну, я думаю, что тут почти даже нечего рассуждать: лечат ведь двумя радикальными средствами — это радостью и болью. Радость — великолепное лекарство, но у радости есть одна слабость. Она сильных укрепляет и окрыляет, а слабых расслабляет и убаюкивает. В то время как боль, боль... Сказать человеку вовремя о его слабостях, о его самочувствии, о его недостатках, о тех зародышах какой-то беды или боли или хворобы, которые в нем сидят, — это очень хорошо. Очень хорошо. Я лечу, по-моему, двумя средствами: мне кажется, что в моих сочинениях есть и радость, ну конечно, есть и боль. Ну как же без боли, как же не болеть за свое родное, кровное? Хорош был бы я гусь, а?! А еще к этому добавлю, что лекарства более действенны не сладкие, а горькие, как правило.

— Зачем в романе «Дом» вставлена новелла «Евдокия-великомученица»? Какая у вас была цель? Все-таки она кажется вставкой в композиции романа.

— Не новелла, а три главы «Из жития Евдокии-великомученицы» — это, действительно, роман в романе. Зачем он потребовался автору? В житии Евдокии-великомученицы, в жизни двух стариков — Калины Ивановича и Евдокии Савельевны преломилась наша история, история нашего государства, со всеми нашими взлетами, порывами, мечтами и трагедиями. И когда я завершал роман «Дом», то, конечно, не мог не подумать об этом, потому что многие наши сегодняшние просчеты, ошибки, ну, мягко скажем, недоразумения — корни их в прошлом. Поэтому, завершая свою тетралогию, я должен был не только думать о событиях, которые сегодня совершаются у нас, но и окинуть своим умственным взором наше прошлое. Но, к сожалению, тут я не могу опять не пожаловаться: критики не хотят замечать или почти не замечают Евдокию, эти главы. Острые главы, конечно, они тревожат. Их читать, так сказать, нелегко, это не чтение на сон грядущий. Это принципиальный

разговор о нашей истории. Дело в том, что сегодня вокруг истории нашего государства идет очень острая, непрерывная борьба: что́ эти шестьдесят с лишним лет, — сплошная радость, шествие к лучезарному будущему? Или это сплошная чернота?

Сегодня высказываются два вот таких, резко противоположных взгляда. И за границей об этом говорится во всеуслышание. Зачем же нам уступать разговор о нашей истории нашим противникам и делать вид, что этих проблем не существует? Нет, они существуют, и мы должны включиться в этот разговор. И я придерживаюсь того взгляда, что у нас были просчеты, были жертвы, жертвы неоправданные, напрасные жертвы, но были и великолепные порывы, были взлеты. И хотя мое поколение и со мной рядом стоящее, идущее с моим поколением, ходили часто в одних штанах, в одной рубахе, но они были великаны духа. И так же Калина Иванович. Пусть этот старый большевик, который прошел через все, пусть он сам во многом идеалист, пусть он мечтатель, пусть он Дон-Кихот, но это Дон-Кихот, порожденный нашей советской действительностью. И чего же этого стыдиться? И не случайно Михаил и все братья Пряслины ходят к нему на исповедь, и он хотя изрекает одно-два слова, но его слушают. Потому что перед ними живая история. Мне кажется, это важно.

— *Федор Александрович, хотелось бы услышать ваше мнение о современной молодежи.*

— Значит, о молодежи. Это вопрос вопросов, об этом надо говорить и очень много и долго, но я постараюсь быть кратким, если вообще это в моих силах. Ну, что молодежь? Прежде всего, молодежь у нас разная. Есть хорошая молодежь, и я эту молодежь встречал сам везде. Ну вот начну со своей, прямо со своей родной деревни. Мой племянник Владимир, младший сын старшего моего покойного брата. Чудо же парень: механизатор, он и тракторист, он и сам машину водит, он и мотоциклист, он и дом отхлопал один, чуть ли не лучше всех в Верколе. Он — совесть, голубя не обидит, прекрасный парень. Единственный его недостаток — чрезмерная, как у его покойного отца, совестливость. И вот я знаю, что Владимир сейчас вместе с вами будет смотреть эту передачу, и я тебе, голубчик, не сердись на дядю, я тебе прямо скажу: все-таки себя тоже побереги маленько, а то что ж, нельзя же двадцать часов в сутки работать. Больного везти в район — он, доярок

везти — он, за силосом ехать — он, старухе что-то сделать — он, и так далее. В общем, мне очень не нравится, что у тебя, парень, уже в двадцать семь лет радикулит. Твоего отца заездили с его совестью, и тебя заездят.

В той же деревне три брата Абрамовых (у нас много в Верколе Абрамовых), моего приятеля Петра Александровича дети, — три механизатора, один лучше другого; очень хорошие ребята у Геннадия Васильевича Белоусова. У нас в Верколе растет сын вдовы моего покойного приятеля, Абрамов Виктор Константинович, — очень хороший парень. Из самых молодых мне очень нравится сын управляющего Ваня Серебренников.

Вот возьмите театральную молодежь. Казалось бы, с театром всегда у нас связано представление о богеме и прочих вещах. Те ребята, о которых я рассказывал, — это сама чистота, которой может позавидовать кто угодно. Возьмите школьников. Недавно я получил от школьников литературного клуба письмо и получаю две книги — свои книги. «Федор Александрович, вот нашему дорогому Юрию Максимовичу Чухненко в ближайшее время исполняется круглая дата, мы очень хотим, чтобы вы поставили свой автограф». Я, конечно, если бы они обратились ко мне, все книжки отправил бы, какие у меня есть, а тут трогательно: где-то нашли эти книжки, купили и, более того, сделали секрет: «Ни в коем случае об этом никого не оповещайте». И тут же приложена фотография. Великолепные ребята с прекрасными жизнерадостными лицами. Я среди художников знаю прекрасных девушек. Я уж не говорю о наших строителях на БАМе, где я не был, но о котором много читал, о строителях новостроек, — много, много хорошего.

Но я не буду убаюкивать молодежь, мне не все нравится в современной молодежи. И я буду говорить совершенно откровенно. Самый главный недостаток, который я замечаю, — у нашей молодежи нередко не хватает молодости. Молодости в смысле идеализма в высшем понятии этого слова, в смысле идеалов, в смысле порывов, в смысле романтики, в смысле устремлений к высшему. Слишком много практицизма, слишком много внимания к барахлу, к барахольщикам, слишком много, ну не слишком — я сгущаю краски по обыкновению, — встречаются, выразимся культурно, элементы жестокости, о которых пишут в газетах, недоброты; действительно, с этим часто встречаешься, и правильно пишут.

Но я тут меньше всего готов винить саму молодежь, я думаю, во многом виноваты прежде всего родители, да и окружение, скажем прямо. Нет должной требовательности, нет должной взыскательности. Я на нынешних родителей просто смотреть не могу, тошнит, понимаете, как они возятся, как они нянчатся, как они ползают на брюхе вокруг своего чада. И тут сколько лет, сколько десятилетий у нас живет один и тот же, так сказать, афоризм: мы худо жили, пусть поживут хоть наши деточки.

Так вот, дорогие родители, дорогие товарищи папы и мамы, ваши дети не будут жить хорошо, они будут жить плохо, потому что так вы воспитываете поросят, эгоистов, и прочее.

Самая главная основа в воспитании молодежи — это трудовое воспитание, а есть ли у нас это трудовое воспитание? Есть. Опять-таки сошлюсь прежде всего на свою деревню, на свой район. Я, например, замечаю: в Комарове под Ленинградом дети летом, целое лето, томятся в пионерских лагерях. Это же ужас! Ничего не делают, едят-пьют, в лучшем случае раз-два физкультуру делают. Еще что? Ну, в лучшем случае пробарабанят, в лучшем случае линейку проведут. Но боже мой, если бы мне предложили повторить снова мою юность в этих формах, я бы сказал: нет, не надо, благодарю вас. У нас в деревне тоже паразитов малолетних хватает, а все-таки, скажем прямо, ученические звенья, которые работают в моей родной деревне, в Верколе, они работают целое лето. Особенно хорошо это дело поставлено в таком прославленном совхозе, коему голова мой друг и приятель Александр Иванович Галышев, в Суре. Там чуть ли не тридцать процентов всех летних сенокосных страдных работ выполняют ученики средней школы. Братцы мои, я с шести лет начал косить, я с шести лет начал работать. Иной сегодняшний восьмилеток — так достань, дядя, воробышка... Трудовое воспитание — это даже понимают темные капиталисты... Там до восемнадцати лет человека кормят, папа и мама кормят, а потом ауфвидерзейн, оревуар, до свидания, вставай на ноги. Сынки миллионеров работают летом официантами, зарабатывают деньги. Почему бы у нас всем фронтом не насаждать это трудовое воспитание? Я этого не понимаю. Тут можно говорить много, это претензии все родителям, но я не снимаю ответственности и с молодежи, я не намерен гладить по головке

и молодежь, молодежь тоже виновата... Я со многими разговаривал: почему так? «А у нас не организуют, а нам что!» Так вы что, голубчики, что вы за молодежь? Вы ждете, что вам воткнут в одно место шприц и введут вакцину молодости? Да что же это такое? Молодежь потому и называется молодежью, что она призвана омоложать мир, заражать своей неуемной энергией, беспокоить. И заражать всех и вся, нас, стариков, зеленым цветом молодости.

— *Хотелось бы услышать, в чем вы видите причину все увеличивающихся разводов среди молодежи? И что вы хотели бы пожелать будущим молодоженам?*

— Братцы мои, я лично не разводился и не собираюсь разводиться, хотя моя жена — отнюдь не золото. Вопрос очень серьезный, я тоже считаю, что во многом виноваты родители. И общество. Мало требовательности к молодежи. Я замечаю, особенно в среде, близкой мне: некоторые папы и мамы не могут дождаться, когда сынку или дочери исполнится восемнадцать-девятнадцать лет, чтобы понянчиться и покачать внучку. И женят. Вы развлекайтесь, а нам дайте внучку, а там как хотите: слюбитесь — хорошо, не слюбитесь — ну что ж... Я думаю, что это идет (об этом уже у нас говорили и писали) от чрезмерно затянувшегося инфантилизма нашей молодежи, а это, в свою очередь, объясняется малой требовательностью к молодежи, отсутствием какой-то самодеятельности и самоинициативы среди молодежи.

— *Какую роль в вашей жизни занимают музыка, живопись, поэзия?*

— Занимают очень большое место. В живописи у меня есть очень надежные учителя, авторитеты, которых я очень люблю. Это наш выдающийся художник Андрей Андреевич Мыльников. Очень люблю я работы второго нашего ленинградца, Моисеенко. Совсем в другом духе пишет Шаманов, Шаманова люблю. Очень ценю работы, которые, к сожалению, не получают должного выхода к зрителю, работы моего друга, очень серьезного, думающего, мыслящего, — Евгения Мальцева. Нравятся мне некоторые работы художника, имя которого не очень громко звучит, а для некоторых совсем не звучит, — Федора Мельникова. Я просто оплакиваю недавно и так трагически и так нелепо скончавшегося Попкова, с его удивительными северными полотнами. Вообще о живописи я могу вам говорить много, я страшно люблю живопись, русскую живопись двадцатого века и считаю,

что это одна из вершин в мировой живописи, тоже до сих пор на Западе недооцененная. Удивительная живопись двадцатого века! На эту тему можно много говорить.

В музыке я не ахти как образован, хотя очень люблю; к сожалению, до сих пор не могу сделать обязательным для себя регулярное посещение Филармонии — это большой пробел: что без музыки за жизнь! Среди музыкантов, сегодня работающих, я особенно бы отметил Георгия Свиридова, музыканта выдающегося и очень разнообразного, глубокого и какого-то духовного, в творчестве которого живет духовная музыка нашего русского средневековья, русского возрождения, которое мы только что для себя недавно открыли.

Поэзия. Ну, без поэзии куда? В поэзии я мог бы назвать... обождите, тут надо маленько подумать. Ну, видите ли, в поэзии сегодня, я бы сказал, некая наблюдается пауза, некое затишье, а вот после 1956 года взрыв был: поэзию читали на стадионах... Сегодня мы наблюдаем некий штиль на поэтическом море, хотя пишут у нас этих стихов просто необозримо и нечитаемо.

Но поэзии маловато сегодня. Ну, кого бы я назвал из наших поэтов? Из наших поэтов я прежде всего назвал бы Андрея Вознесенского. Его можно упрекать за излишнее увлечение экспериментаторством, хотя литература, живопись да и поэзия без экспериментаторства невозможна, но это поэт очень большой, в котором очень ярко, современными средствами, средствами НТР выражен дух нашей эпохи. Конечно, Андрей Вознесенский выражает одно из направлений нашей эпохи, она богаче, и нельзя в Андрее Вознесенском искать все и вся, этого не бывает...

Очень люблю, не пропускаю ни одного стихотворения Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Анатолия Жигулина, оплакиваю и каждый раз рыдаю над стихами, особенно последними, так рано скончавшегося Николая Рубцова. Очень дорога мне, очень нежно люблю я Ольгу Фокину, которая мне представляется нашим самым ярким поэтом из женщин. Можно говорить очень много. Но будем надеяться, что мы живем в состоянии некоего затишья, которое разразится поэтической грозой.

— *Еще вопрос. Вот вы говорили здесь о живописи, о поэзии, о музыке, хотелось бы, чтобы вы немножко сказали о Шукшине, о его слове, о живописи словесной, о*

его раздумьях над жизнью, о вашем отношении к нему как к человеку и к художнику.

— Понимаю вас, хотя мне нелегко ответить. Я очень ценю Шукшина — необычайно яркая личность, редкая личность для нашего времени в смысле многогранности: и актер, и писатель, и режиссер, и все в одном лице, и не случайно память о нем так нежно сохраняется в сердцах нашего народа. Он стал просто народным героем. Ну, что касается его литературного наследия, то я бы сказал так: у него немало хороших, прекрасных рассказов, но немало и просто зарисовок на ходу, и он сам в этом отдавал себе отчет и осознавал, потому что писал он на ходу, второпях. И в последнее время он на эту тему достаточно сам высказался. Нельзя, очевидно, все совмещать и везде успевать одинаково блистательно. Это он понимал и стоял на пути выбора. Что касается его крупных вещей — «Любавины», роман «Я пришел дать вам волю», сценарий о Разине, «Энергичные люди», — то я не буду врать, грех врать в искусстве, грех врать вообще — я считаю, что эти вещи еще нужно было бы вынашивать, и обкатывать, и выстраивать, и углублять. Вот мое отношение.

— Борис Пастернак сказал: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь». Согласны ли вы с этим?

— Я никогда этого не понимал. Почему быть знаменитым некрасиво? Эту фразу я хорошо знаю, и я немало над ней задумывался и прикидывал и так и этак, не буду вас посвящать в ход своих рассуждений, потому что записок много. Поверьте мне: это было предметом моих немалых размышлений, но так к определенному выводу я и не пришел.

— Как вы соедините гуманизм Пушкина с его строками в «Евгении Онегине»: «...кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей...»?

— Ну, ничего тут страшного нет, это не универсальное, не глобальное презрение. Кого-кого, а уж Пушкина в человеконенавистничестве заподозрить никак нельзя, это был величайший жизнелюб и величайший был человеколюб... Пожив, особливо с мое, становишься немножко — и это признак, если хотите, ума, — становишься скептиком во всех отношениях, в том числе и в отношении человека, его природы. Человеческая природа — невероятно сложная штука. Мы говорим: человек звучит гордо, нет ничего прекраснее, царь природы —

все это верно. Но ведь и нет в живом мире таких падений глубоких, кои наблюдаются среди людей. Короче говоря, природа человека у нас еще очень мало изучена и, как это вам ни покажется диким и странным, — казалось бы, о чем писать, о чем думать нам и размышлять, — прежде всего о том, что такое человек. И мы, конечно, думаем, всю жизнь думаем, но, к сожалению, я должен вам со всей откровенностью сказать, что, может быть, менее всего наукой изучен и понят человек. Это и огорчает, но это и лишний раз убеждает в неограниченной красоте, в многообразии и богатстве того существа, имя которому человек.

— Федор Александрович, скажите, пожалуйста, произведения каких писателей современности, нашего времени кажутся вам наиболее действенными?

— Действенными? Ну, этот вопрос, наверное, проще может быть сформулирован: какие произведения мне кажутся наиболее хорошими. В общем, я вам ничего не открою нового, я ценю, вероятно, то, что цените вы. Ну, кого я ценю из современных писателей? Я просто перечислю Прежде всего, конечно, мне очень близки и я очень люблю так называемых писателей-«деревенщиков», потому что эти писатели в своих произведениях говорят об очень серьезных вопросах не только нашего сегодняшнего бытия, но они говорят о наших нравственных истоках, они задумываются о таких понятиях — откуда что пошло, к чему это придет, и так далее и так далее. Некоторые этак снисходительно, по глупости большой, смотрят свысока — ну, деревенщина, и название само «деревенщики». Я, например, горжусь, что я из деревни. Потому что человек, который родился в городе, всю жизнь живет в городе, ведь он же обворован жизнью, он не знает по-настоящему мира природы, он не знает животных, он не знает рек, воды, трав, он не знает по-настоящему сказок, былин, всей духовной основы своей нации, он живого слова, родников, бьющих оттуда, еще бог знает из каких языческих глубин, — ничего этого он не знает. Кичиться горожанину перед деревенским нечего. Деревенский человек всегда нагонит горожанина, горожанину деревенского в познании и богатстве своих чувств не нагнать.

Так вот, кого я люблю, кого я ценю из современных писателей? Это Василий Белов, это Распутин, это Астафьев, это Солоухин, это Залыгин, это Борис Можаев, это Евгений Носов, это Тендряков, это молодая по-

росль — Личутин, хороший, подающий большие надежды мурманский писатель Виталий Маслов... старейший наш самый великолепнейший Гаврила Николаевич Троепольский.

Но я не свожу нашу литературу только к «деревенщикам», есть у нас великолепные писатели: покойный Трифонов, это огромная потеря, Павел Филиппович Нилин, явно недооцененный при жизни человек и писатель. «Жестокость» — это выдающееся произведение, которое, может быть, само было какой-то отсчетной меркой в нашей литературе. Всю деревенскую литературу выводят из Овечкина — это не совсем правильно. Вся послевоенная психологическая городская литература, с обостренным чувством нравственных вопросов, с оценкой тех или иных периодов истории, я считаю, что она почти вся пошла от Павла Филипповича Нилина, и прежде всего от его такой великолепной вещи, как «Жестокость».

Я мог бы назвать еще писателей... Даниил Гранин, Быков, Айтматов и много, много других... И, конечно, Шолохов был и остается самым выдающимся писателем нашей страны, а я бы даже сказал — и нашей эпохи... Много писателей в наших республиках...

Сейчас существует точка зрения, что центр мировой литературы сместился, перешел в Латинскую Америку, Я это только отчасти разделяю. Мне хочется самым горячим образом защитить те ценности, — при всех, так сказать, наших огрехах, слабостях и недостатках (это бывает во всех литературах), — которые вырабатывает советская литература. И как в девятнадцатом веке духовный центр мировой литературы находился в России, так он остается пребывать и сегодня.

— *Федор Александрович, как вы относитесь к Шергину и к Писахову, не считаете ли вы, что они несколько забыты?*

— Это два писателя, которые связаны с Севером и действительно они если не забыты, то подзабыты. Это, конечно, крупное явление в нашей литературе. И тот и другой порождены Севером, русским поморьем, поморами, создавшими особую морскую бытовую и прочую культуру, поморьем, которому мы обязаны и открытием Сибири, и многих, многих земель, Севером, который сыграл исключительную роль в судьбе России. И Борис Шергин — это удивительнейший творец, удивительнейший словотворец. К сожалению, я виделся с ним один только раз, это был святой человек. Он жил все время

в Москве, Москва его и не заметила, хотя, может быть, это был первый словотворец на Москве по силе слова, по душевности, по сердечности, по доброте, по милосердию и состраданию.

Писахов — это и художник, известный художник-северянин, это литератор, создатель знаменитых сказок с центральной фигурой Сени Малины. Я об этом писал в статье к столетию, не буду повторяться, но только, чтобы вы почувствовали, что это за фигура, масштабы этой личности и художника, вот так скажем: вы Андерсена знаете, об Андерсене все твердят и переиздают... Братьев Гримм тоже переиздают. Так вот, по размаху фантазии среди сказочников мира первого десятка Писахов занимает особое место. Такого разгула фантазии, такого невероятного вранья, заливанья, такой невероятной изобретательности, таких взлетов фантазии, да и такого слова, которое сочится всей мудростью и красотой народной, — поискать. Вот кто Писахов. Писахов — великий сказочник, и не знать его стыдно.

— Федор Александрович, вы много писали о деревне, а не было ли у вас желания написать о жизни города? Ведь вы прожили в Ленинграде не один год, неужели он вас не вдохновил на какую-нибудь тему?

— Да, вопрос, упрек, конечно, справедливый. Но это не совсем верно. Надо о городе тоже писать. Да, надо, но сердцу не прикажешь. А писатель — это сердце... Извилины работают очень напряженно, должны работать, но всем распоряжается в писательском хозяйстве сердце, интуиция, какая-то внутренняя подсказка. У меня есть мысль написать о городе, даже где-то робко его ввожу, но это не очень хорошо получается. Ну, а потом я весь переполнен по-прежнему деревней. А что значит: деревней я переполнен? Я переполнен Россией, периферийной Россией, на которой держится вся наша городская жизнь. Мы в городе, может быть, только плоты плавучие в этом народном море-океане, который называется Россия. Так что, мне кажется, пусть кто о чем хочет пишет, главное, чтобы в его писаниях ощущалось время и ставились вопросы и проблемы, которыми мы с вами живем.

— Федор Александрович, в зарубежной прессе часто пишут о том, что с развитием техники наступает закат литературы и голубой экран постепенно заслоняет печатное слово. Вот как бы вы, писатель, разубедили людей, не верящих в бессмертие книги?

— Одно время я тоже разделял опасения такого же рода: не потеснит ли голубой экран книгу? Но время показало, что нет. Это не мешает, и не только у нас (у нас читаемость не снизилась, а увеличилась). Мне приходилось говорить на эту тему и за границей. Одно время была волна — все захлестывало кино. А вот сейчас итальянцы, например, жалуются, что не затащишь никого в кино, прогорают театры, а книжка — она не прогорает при условии, если она хорошая книжка. Вот тут мало надо: только напиши хорошую книжку, и, братцы мои, успех обеспечен, тебе не надо беспокоиться... И картину хорошую экран не потеснит, мы в этом убедились, на хорошую выставку отбоя нету, очереди стоят. В общем, ничто хорошее ничем не вытесняется.

— Федор Александрович, скажите, пожалуйста: вы много говорили о живописи, о музыке, о печатном слове, а как вы относитесь к советскому кинематографу? Какой из режиссеров может быть более близок вам по духу?

— Советский кинематограф богатый, и тут бы мне пришлось называть очень и очень много имен. Я сам до войны, и во время войны, и после смотрел каждую картину, сейчас я уже не смотрю несколько лет. Както не получается со временем, хотя летом смотрю. Мне из нынешних работ в нашем советском кино особенно нравятся работы грузинского кинематографа. Я не читаю специальную литературу, не знаю, что там говорят за океаном и за морями, но я с восторгом отношусь ко многим работам грузинского кино. Я считаю, что грузинское кино переживает сегодня ренессанс, что это одна из самых, если не самая яркая страница в мировом кинематографе. Я назову только несколько картин, прежде всего «Несколько интервью по личным вопросам» — такой красивый, такой культурный, такой деликатный разговор о самых сложных вопросах эпохи; такой содержательной, такой насыщенной картины я просто не знаю, я сегодня затруднился бы назвать где-либо за границей... А игра артистов! Скажем, Софико Чиаурели играет просто великолепно. Это удивительная игра! Или другая картина, «Древо желания». Опять Софико играет, я и не узнал ее, мне после растолковали, что это она играет. Это совершенно великолепная работа, в своем национальном и в то же время общечеловеческом духе...

— Какие процессы современной жизни вам кажутся наиболее важными?

— Я бы сказал, что это процессы и глобального порядка, и нашего внутреннего порядка, союзного, а еще, скажем, уже российского порядка. Ну, что касается глобальных процессов, тех процессов, которые втягивают в свою орбиту все человечество, весь мир, всю нашу планету, то это прежде всего вопросы мира, войны и мира, — тут споров на этот счет не может быть, и, конечно, все зависит от решения этого коренного вопроса, и, конечно, мы не только каждый внимательно следим за этим, но в меру своих сил делаем все для того, чтобы дело мира восторжествовало. К глобальным вопросам относится и проблема народонаселения. Вы народ грамотный, читающий, вы знаете, что, по предсказаниям некоторых демографов, через двадцать или через двадцать пять лет население земного шара увеличится в два раза. Задумайтесь, что это такое, какие проблемы, какие вопросы, какие трудности возникают перед человечеством: это жилье, а значит — современные города, число домов нужно удвоить, это проблема питания, это проблема обеспечения водой, пресной водой, которая сегодня становится очень ценным, так сказать, минералом на земле, это многие, многие другие вопросы. Это проблема распределения материальных благ. И вот в этой связи я хотел бы всем вам порекомендовать прочитать книгу римского публициста Аурелио Печчеи «Человеческие качества», это президент римского клуба, о нем я не буду распространяться. В этой книге много спорного. Он, например, ставит вопрос так: чтобы человечество смогло выжить, оно должно радикально изменить свою природу. Это, конечно, чистая утопия, это нереально, но, помимо утопических воззрений, в этой книге огромная информация, много всяких сведений и рассуждений. Мне особенно показалось привлекательным предложение, которое он выдвигает перед людьми: самая насущная потребность нашего времени — это необходимость установления минимума и максимума потребления, железная необходимость ликвидировать тот чудовищный разрыв, который существует между отдельными людьми, отдельными группами, сословиями и классами в обладании материальными богатствами. Вот это, так сказать, на тему о глобальных проблемах, которые стоят перед человечеством.

Что касается внутренних проблем, чего уж тут говорить, вы сами все понимаете, их очень много. Это устройство прежде всего Нечерноземья, так принято, так

называют часто сегодня коренную Россию, откуда пошло наше великое государство. Это дороги, прежде всего, это устройство земель, это устройство жилья деревень, которые опустели, из которых ушли люди, — много, много вопросов, — это, наконец, вопрос о русском лесе, который нещадно вырубается, это вопрос о русских реках. Это вопрос о водах, о животных, и это вопрос, наконец, о тишине. В общем, вопросов очень много, и все их надо решать, но их можно решить только при одном условии, и на это мне хотелось бы обратить ваше внимание — при условии решительного искоренения, решительной борьбы с пассивностью, равнодушием и безразличием, которые еще бытуют в нашей жизни.

— *Какие у вас были самые горестные и самые радостные моменты в жизни?*

— Тут придется касаться «автобио». Самый первый и самый горестный момент в моей жизни связан с тридцать вторым годом. В этом году я окончил начальную школу. Окончил первым учеником (без хвастовства, я всегда учился хорошо).

И вот, казалось бы, первому ученику должны прежде всего раскрыться двери в школу. А тогда как раз у нас впервые на базе нескольких деревень была создана первая в нашей округе пятилетка. И вот приняли всех детей бедняков, детей красных партизан, хотя все мы были уже в колхозе, колхозниками, а меня, первого ученика, не приняли. Потому что я был сын середнячки. Когда умер мой отец, нас у матери осталось пятеро. Мал мала меньше, старшему пятнадцать, младшему — второй год. И отец оставил нам немного, наследие небольшое: коровенку и пол-избы. А к тридцатому году, к моменту вступления в колхоз, мы были одной из самых состоятельных семей в нашей большой деревне. У нас было две коровы, у нас было две лошади, жеребенок, бык, штук десять овец, и все это сделала, сотворила наша детская колония, наша детская коммуния. И вот это было поставлено в вину мне. И я, как сын середнячки, не попал в школу. Это была страшная, горькая обида ребенку, для которого ученье было — все. Но все в конечном счете в этом лучшем из миров кончается благополучно, и зимой меня все-таки приняли в пятилетку.

А самый радостный момент? Ну, радости много было в жизни. Радость — это когда выходит книжка, это когда мысль хорошая придет в голову, радость, когда хорошо выспишься, когда встретишь интересного человека.

Но самая большая радость в моей жизни — это то, что я прошел через войну и остался жив. А на войне мне пришлось повидать много. В сорок первом году, когда добровольцами мы все — за немногим исключением, кто поехал держать оборону под Ташкентом, — мы все пошли на фронт. В общем, у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами... Страшно много случайностей, в результате которых я оказался жив. Это надо рассказывать очень долго, и вот для меня самый великий праздник, тут уж я открываю прописные истины, это, конечно, День Победы.

Ребят, которые со мной ушли на фронт, нет в живых. Но они и мертвые помогают мне жить. Сколько бывает огорчений, сколько невзгод в жизни, когда чуть ли не в петлю готов залезть, но вспомнишь, что ты остался в живых, что все ребята, твои товарищи, погибли, что погибли, может быть, самые талантливые, может быть, гениальные ребята. Мы подсчитали — двадцать миллионов. Двадцать миллионов или больше, мы же не знаем, сколько погибло. А кто подсчитал, сколько погибло талантов, гениев? Как осиротела из-за этого, оскудела наша советская, русская земля. Это же не подсчитано. И поэтому для меня всегда самое первое утешение, что я живу. И я должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету.

— *Федор Александрович, а каким бы вы хотели видеть, каким должен быть современный учитель?*

— Мне кажется, что одна из главных проблем, которая должна занимать нас, наше внимание, общественность, — это школа. Ну, я не буду говорить, уже признано давно, что школа наша лучшая, процветает, и так далее и так далее. Я буду говорить о недостатках наших школ. И, мне кажется, недостатков немало. Ну, первый вопрос, дикий вопрос совершенно, для меня, по крайней мере, дикий. Некоторые или даже многие ребята не хотят учиться сегодня. Это я не выдумываю, с этим я сталкивался, встречался. Да что это такое? Отвращает, глаза колет свет? Как это могло получиться? Очевидно, в школе не все благополучно.

Ключевая проблема школы, что бы мне ни говорили, — это учитель. К сожалению, у нас в учителя идут далеко не все по призванию, далеко не все отвечают высоким требованиям. Надо сделать так, чтобы в школу шли, в вузы педагогические — только по призванию. А это можно сделать, это в наших силах. Вот это первое, это речь об учительском корпусе.

И второе, тоже об учительском корпусе. Пора кончать с безотцовщиной в школе. Я не хочу ничего плохого сказать о нашей учительнице, но у нас учат детей исключительно женщины. Это нехорошо. Мы знаем, как страдает семья, когда в семье нет отца, хозяина. Но ведь и школа страдает. Раньше ведь этого вопроса не стояло, а сегодня в какую школу ни зайдешь, почти сплошь одни женщины. Повторяю, ничего не хочу сказать плохого о женщине. Прекрасные учителя! Но не хватает мужского духа в школах. И учителя хотел бы видеть... такого таланта, как мой Алексей Федорович Калинцев. Такие таланты встречаются не часто. Но брать пример с них, но поставить их перед собой, как свечу, — это надо. И задача родителей — укреплять авторитет учителя. У нас совсем плохо обстоит с этим делом. Вот Алексея Федоровича чтили потому, что тогда страна была неграмотна, тогда учителю было легче. А сейчас папы и мамы все грамотные, и они в доме при ребенке далеко не всегда похвально говорят об учителях. Это непедагогично. Но, с другой стороны, надо предъявить требования и к самим учителям. Учителя тоже ослабили к себе требования. Я, например, не мыслю, чтобы какая-нибудь малограмотная по нынешним временам девчонка-учительница в двадцатые — тридцатые годы позволила, чтобы в ее присутствии раздавалась матерщина. Этого не могло быть, она бы кинулась на этого хулигана. Да и хулиган поопасся бы. А сейчас заходишь в сельский клуб, я уж не говорю о городском, там то же самое, заходит учительница, и гнут перед ней направо и налево, а она — «хи-хи, ха-ха». Нельзя позволять, нельзя забывать, что ты учительница, учительница в самом высоком смысле этого слова. И учитель может быть учителем только тогда, когда он будет всегда, в любое время, не расслабляясь, помнить, что он учитель. У учителя отпусков на неучительское время не бывает.

— *Как вам представляется будущее деревни и русского крестьянина?*

— Вопрос очень серьезный. Ну, конечно, проще все-

то вам бы обратиться с этим вопросом к министру сельского хозяйства. У него в руках вся цифирь, все планы, все прогнозы на будущее, плюс к тому — армия научных работников. Можно было бы, конечно, обратиться к нашим социологам. Они очень точно подсчитали, что, скажем, опоздания на работу понижают производительность труда. Можно было бы, конечно, попытать фантастов. Они любят фантазировать о будущем и прогнозы строить. Но если говорить по моему собственному разумению, как мне представляется проблема, то я бы сказал так... У деревни существуют два пути. Или, проблема деревни, проблема крестьянства имеет два решения.

Первое решение — деревня кончается, деревня исчезает с лица земли и уходит в небытие, и чем это скорее произойдет, тем лучше. А что взамен? Взамен агрогорода, агрокомплексы. Короче говоря, промышленное сельскохозяйственное производство, полная, полнейшая механизация, без всяких сантиментов. Буренушка там... никаких буренушек, доильная машина «биологического», так сказать, строения. Полная механизация, полная машинизация. Есть в этом резон, в таком подходе к сельскому хозяйству? Есть резон. И такой путь развития сельского хозяйства дает неплохие плоды.

Возьмите Америку. Я своими глазами видел в бытность свою в Америке — действительно, там никаких сантиментов не существует. Я был там и на крупных ранчо, то есть огромных фермах, на средних и на мелких, которые стоят на грани исчезновения. Меня все интересовало, и я ездил по этим фермам. И вот я на средней ферме... Все там камень, все железо, упитанные коровы, и прочее и прочее. Я спрашиваю хозяина: «Ну, а вы знаете всех их по именам? Коров?» — «Как по именам? Зачем?» Я говорю: «У нас и сейчас доярки: Буренушка, Мальва, Ольга, кто как изощрится, такое имя и называют, и чешут, и ласкают». — «Ну, что за глупости, конечно же, я не знаю имен и коров не знаю. Коров я знаю только больных, которые заболели и которые перестали давать мне молоко. Я сразу принимаю меры, я замечаю, отличаю здоровую от больной коровы и этим отношения человеческие с коровой кончаются». Это вот американский путь. Может быть, несколько в огрубленном виде.

А второй путь — этого пути придерживаются многие писатели-деревенщики, в значительной мере его разделяю и я. И этот путь практически осуществляется в

ряде стран. Скажем, успешно осуществляется в Чехословакии, хорошие результаты он дает в Венгрии. Этот путь заключается в том, чтобы деревню сохранить. Конечно, на другой основе, с введением всех, так сказать, благ цивилизации, городского быта и так далее. Но деревню сохранить. Почему это важно? Дело не только в материальной стороне дела. Деревня русская — это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего. Дело в том, что исчезновение связей, утрата связей человека с животным, с землей, с природой, она может обернуться очень серьезными последствиями. И в Америке эти последствия еще не изучены. Они еще не знают, что дадут полная механизация, машинизация. Они могут обернуться очень серьезной стороной для человеческой природы. Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность, строится человечность в человеке. Исчезнут эти отношения любви, доброты к животным и к земле — повторяю, неизвестно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным и непредвиденным изменениям национального характера?

— Дорогой Федор Александрович, что заставило вас написать открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся»?

— Это речь идет о письме, которое было опубликовано в районной газете «Пинежская правда», а затем перепечатано в газете «Правда». Это два года назад.

Что заставило написать это письмо? Толкнула меня на это дело прежде всего жена, неисправимая идеалистка, которая до сих пор верит, что словом, писательским словом можно многое изменить в этой жизни. Конечно, были и другие мотивы. И самый главный из них — это равнодушие, безразличие, которое я наблюдал в нашей жизни и с которым нередко сталкиваюсь. И тут речь идет не только о моих земляках. Письмо адресовано не только моим землякам, оно шире. А если говорить о моих земляках, то Пинежский район среди районов и сел Нечерноземной полосы — это процветающий район, У нас, например, триста дворов в Верколе, самые новенькие, все выкрашены краской, у каждого холодильник, у каждого всякая техника. Но в то же время часто видишь: в поле зашли лошади — никто их не прогонит, не выгонит... Роскошный луг, рядом дорога, нет, хочу

в сырую погоду на тракторе по целине... Двадцать семь женщин или двадцать сидели пять лет дома, потому что не было достаточно детских мест в яслях. Сама деревня не благоустроена. И вот я поговорил как-то раз с Поздеевым Михаилом Григорьевичем, секретарем райкома, — человек он опытный, умный, пятнадцать лет правит Пинегой. Я говорю: не кажется ли вам, что надо бы немножко подтолкнуть наших людей, ведь северяне всегда отличались добронравием, всегда работали хорошо, а тут такая расхлябанность... Что, если я напишу письмо? «Согласен. Писателей на Руси ценят и к писательскому слову у нас прислушиваются, возьмем на вооружение в нашей пропаганде».

Ну, я накатал это письмо, открытое письмо к землякам. И, конечно, сам в страхе... что мне скажут земляки?

Представьте себе, выходит газета, я ни жив ни мертв, и ко мне является депутация старух: «Спасибо, Федор Александрович. Давно знаем, что вы писатель, а вот что настоящий писатель, узнали только сегодня». Короче говоря, жизнь взбурлила просто. По всему району — сельские сходы, везде обсуждают, потому что есть же честные люди и немало их, надоел беспорядок, надоела безалаберщина, ведь от нас многое зависит. У нас все в деревне закрутилось... С риском в клуб попадали — крыльцо отремонтировали. Школа как сарай была, без вывески, — вывеску наколотили. За два месяца ясли построили. Много сделали. Телята дохли на телятнике — построили новый телятник, и еще много, много... Письмо, конечно, подхватили. Но некоторым товарищам показалось, что у нас и так инициативы хоть через край, нечего о развитии инициативы народной беспокоиться. Короче говоря, письмо должного обсуждения не получило.

Я должен сказать, что оно как-то не было понято и многими писателями. Некоторые писатели просто обиделись на меня. Спрашиваешь, но с кого спрашиваешь? Ты с народа спрашиваешь, а надо с начальства спрашивать. Нет, в начале письма я говорил: с кого же в первую очередь спрос за эту нерачительность, за безалаберность? Конечно, спрос в первую очередь с райкома, с дирекции совхоза и так далее. Но имеет ли при этом к делу отношение рядовой человек, он за что-нибудь отвечает или нет? Или моя хата с краю? Или мы ждем, как в некрасовские времена бабушка Ненила: вот

приедет барин, барин нас рассудит? Все упования на барина. Мы ни при чем, моя хата с краю, я ничего не знаю? По этому принципу многие живут. Конечно, надо требовать с руководства, с начальства, на то оно и начальство, за то оно и денежки получает. Надо спрашивать. Оно несет ответственность. Но до тех пор пока мы сами, каждый из нас, каждый рядовой человек не поймет, не установит для себя непреложным законом, что все дела — это мои дела и что большой наш дом строится только общими усилиями, по крайней мере дом — деревня, до тех пор мы ничего не изменим. Вот каков смысл был этого письма. И этой идеи, идеи народной инициативы, активности я придерживаюсь всегда, и если есть такой писатель Абрамов, то его главное кредо: будить, всеми силами будить в человеке человека.

— Не кажется ли вам, что в романе «Дом» образ Михаила Пряслина принижен? Не теряет ли он какой-то нравственный стержень?

— Не кажется. Наоборот, мне кажется, что он оброс костяком. В «Путях-перепутьях» Михаилу двадцать лет, затем проходит двадцать лет, и в «Доме» Михаил уже здоровенный мужчина — сорок четыре года. У него нет такого романтического взгляда на жизнь, розовой дымки в глазах, какая была раньше. Он судит более трезво, жестко и практично. И это вполне понятно.

Не теряет ли он при этом нравственный стержень? Да нет же. Михаил, по словам Лизы, объявил состояние войны со всем Пекашином, которое временно попало в объятия прощелыги Таборского. Михаил — опора всех сирых и слабых, старух и так далее. Михаил — образец в работе, не щадит себя... Отношения с Лизой? Конечно, желательно бы лучше, но ведь надо же понимать, что он расценивает Лизу с точки зрения самого высокого нравственного максимализма. И то, что у нее только что погиб сын и вдруг появляются двойнята, ведь он же не знает, как это все произошло... Разве он может спокойно к этому отнестись? Еще не все смотрят так: ага, ты спал сегодня с одной, завтра с другой, ладно, ничего. Нет, извините... Но, конечно, прилипло к нему немало пыли, грязи за эти двадцать лет. Но дело-то в том, что в конце происходит великое самоочищение ценой потери, может быть, самого дорогого, самого близкого и самого святого для него человека: Лизы, сестры. Он снова становится Пряслиным, снова становится че-

ловеком, способным вести за собой семью, и не только семью.

— *Каким представляется вам лицо сегодняшнего мещанина?*

— Ну, такого мурла мещанина, как у Маяковского, у Зощенко, сегодня нет. Сегодняшний мещанин очень образованный. Это прежде всего. Если надо, очень деликатный и очень хорошо владеющий искусством мимикрии. Причем с высоким начальством он один, а с низким — другой. Таким мне хотелось представить Таборского: он может разговаривать и с районным и областным начальством, и вместе с тем он — парень-рубаха, свой в доску, свой в дугу с механизаторами. И их разлагает: воруйте, ребята, я сам цыган и вам не мешаю.

Вот таков примерно сегодняшний мещанин.

— *Известно, что зрелые Пушкин, Толстой, Достоевский и другие классики читали библию, использовали библейские образы и мотивы. Современный писатель читает, изучает библию?*

— Грамотный писатель изучает, неграмотный — нет. Ну как же библию не читать? Это десять заповедей: не укради, не убий, не прелюбодействуй, и так далее, кроме которых человечество ничего пока не выдумало. Ясно, что библия стала книгой человечества.

— *Как складываются ваши отношения с редакторами, издательствами, Твардовским, нынешними?*

— Большой вопрос. Я уже говорил вам частично, что мне каждую крупную вещь приходилось печатать с большим трудом. Что касается Александра Трифоновича Твардовского, то он сыграл в моей жизни выдающуюся роль. Он первый, когда меня пять лет не печатали нигде, первый напечатал «Две зимы и три лета». И вообще Твардовский сыграл (хотя я не могу сказать, что я был с ним на короткой ноге, что я дружил с ним, это было бы слишком. Хотя я встречался с ним довольно много и знаю, как мне кажется, довольно хорошо) в моей жизни редкую, исключительную роль. Я и сейчас пишу, пишу и думаю, пишу с оглядом на Твардовского: а как бы на это посмотрел и оценил Твардовский? Потому что не было в моей жизни, в мою бытность в литературе человека, который более нетерпимо относился бы ко всякого рода лжи и фальши, чем Твардовский.

— *Вас переводят в разных странах мира. При этом сохраняется ваш язык и язык ваших героев?*

— По-всякому бывает. Сохраняется или не сохраняется — это мне довольно трудно контролировать.

— Понимают ли читатели за границей Пряслиных, могут ли полюбить, как мы?

— Ну, это было бы самонадеянно говорить, что все любят меня и зовут в объятия. Но бывали очень интересные случаи. Я получаю письма из Сибири, с Украины, с Урала и из других деревень, в которых пишут: «Пряслин — мой брат», спрашивают, когда я был у них в деревне, почему не объявился. Это все мне пишут, и это понятно, потому что в пряслинской семье схвачена, хорошо или худо, но схвачена история крестьянской семьи, очень типичной для России. Отец уходит на войну и погибает, куча ребятишек, безотцовщина, и старший сын, которому еще четырнадцати лет нет, становится за мужика, за главу семьи — это пережила вся Россия, и не только вся Россия, и Грузия, и многие, многие другие. Поэтому все понятно.

Но очень интересный был у меня случай во Франции... Как-то разговорился с приятелем в Провансе, с одним преподавателем. Он говорит мне: а не хочешь ли посмотреть французского Михаила Пряслина? У меня глаза на лоб...

Короче говоря, поехали в винодельческий кооператив. И председателем этого винодельского кооператива, организованного, конечно, на иной основе, чем наши кооперативы, оказался рослый француз. Очень такой плечистый, крепкий, кряж такой. И оказывается, что его иногда называют французским Пряслиным, потому что у него в общем была та же биография. Ранняя безотцовщина, отца угнали, там он погиб, осталась куча ребятишек, и все это легло на его плечи.

Более того, такие же истории о типичности Михаила Пряслина для них, немцев, рассказывали мне немцы. Некоторые биографические черты, отраженные в Пряслиных, оказались реальными и для немцев.

— Я читал ваше выступление на VII съезде писателей. Вы говорите, что перестройка, обновление жизни только социальными средствами, не подкрепленные душевной работой каждого человека, не могут дать желаемого результата. Что вы подразумеваете под душевной работой каждого человека?

— Вопрос очень сложный. За неимением времени коснусь коротко. Издревле, с очень давних пор существуют два способа обновления, два способа перестрой-

ки жизни. Один путь — путь социальных революций и социальных реформ, второй путь, который особенно яростно проповедовал в нашей русской жизни и в нашей литературе Лев Николаевич Толстой, — это путь нравственного усовершенствования, нравственного самовоспитания личности, каждого человека. Долгое время к этому учению Льва Толстого, прекрасному учению Толстого, которое является сердцевиной всего его творчества, у нас относились негативно. Были на то основания, потому что это отвлекало от революции. Но сегодня мы можем должным образом оценить учение этого великого человека, потому что опыт показывает: социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов.

Что я понимаю под душевной работой каждого? Это самовоспитание, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести. Совесть — это как раз та сила, которая помогает сдирать с человека коросту эгоцентризма, коросту всякой затхлости. Это та сила, которая выводит человека на пути широкого братства, требовательности к себе и к людям.

— *Почему вы вручили судьбы Пекашина Нетесову? Тем более что Нетесов показал себя как безотказная машина, исполнял приказы Таборского?*

— Я скажу так: Виктор Нетесов не идеал, но наша жизнь, сегодняшняя действительность требует, нуждается, очень нуждается в деловом человеке. Виктор Нетесов при всем несовершенстве своем человеческом несет в себе эти деловые качества. И в этой деловитости сегодня как никогда нуждаемся мы, нуждается страна. И при всех душевных вывихах его пекашинцы ухватились за него, потому что, по крайней мере, он точен, как машина.

— *Как вы относитесь к жизненным компромиссам, ведь без них сейчас не проживешь.*

— Вообще в жизни без компромиссов прожить нельзя. Но меру компромиссов решать каждому, сообразуясь со своей совестью.

— *Каково ваше впечатление от поездки в Соединенные Штаты?*

— Я был там пять лет назад. Объехал почти всю Америку, но я на три дня вернулся раньше, хотя мне Госдепартамент предлагал еще продлить путевку на де-

сять дней. Я из тех, кто болен ностальгией. Я все бросил и с радостью покатил в свою Россию. А впечатлений очень много. Я, может быть, когда-нибудь напишу...

— *Дорогой Федор Александрович, как вы относитесь с славянофильству?*

— Ну, я вообще к славянофильству отношусь очень положительно. Что такое славянофильство? Это любовь к славянам, любовь к славянским народам, разве это плохо? Вообще, у меня в абрамовском евангелии любовь, доброта на первом месте. Всякая доброта, всякая любовь меня восхищает. Другое дело, что иногда разговоры о славянской культуре выливаются под пером некоторых писателей, некоторых публицистов и некоторых истолкователей в нечто очень однобокое и тенденциозное... скажем, славянское — превыше всего... что другие народы вообще ничего не сделали. Вот эти крайности, этот, так сказать, интеллектуальный экстремизм или, я бы сказал, снобизм меня совершенно не устраивает. А он дает о себе знать...

Среди славянофилов были удивительные, самые чистые, чистейшего золота патриоты. Вот это никогда не надо забывать. Другое дело, что некоторые люди, которые называли себя славянофилами, грешили некоторыми недостатками. Они, как все люди своего времени, допускали крайности в своих суждениях. Я бы мог с удовольствием прочитать на эту тему вам лекцию, но за неимением времени ограничусь общими словами.

— *Как вы относитесь к творчеству Солоухина?*

— Солоухин — очень талантливый, один из наших первых писателей, причем писатель, который обладает редким письмом. О чем он только не может писать, — он поэт, он рассказчик, новеллист, он повести пишет, он пишет эссе, он выступает с прекрасными статьями. Ну, например, была очень хорошая статья в «Москве» напечатана: «Пора собирать камни». Это об Оптиной пустыни. Статья эта вызвала нарекания. Но, братцы мои, что вы ни делайте, что вы ни говорите, как вы ни плюйте в сторону Оптиной пустыни, но она существует, и существование ее от вас не зависит, потому что это был один из духовных центров России в прошлом. И туда ездили и такие неглупые русские мужики, как Гоголь, как Толстой и многие иже с ними.

— *Как к вам относятся ваши земляки-северяне?*

— Я уже говорил. У меня очень хорошие отношения с земляками, но иногда объяснения бывают даже через

газету, потом самопокаяние бывает с той и с другой стороны. Но в общем с земляками у меня хорошие отношения. Единственно, с кем у меня отношений нету, — это с «Правдой Севера». «Правда Севера» меня как писателя совершенно игнорирует. Уже давно, несколько лет, ни одного отклика на появление моего сочинения. Хотя земляки читают меня и проявляют ко мне интерес. И по этой причине надо было хоть бы пару строк в виде информации дать. Мое выступление на съезде, хотя другие газеты печатали, там тоже не опубликовали. Письмо к землякам, казалось бы, имело к делам Севера прямое отношение, — тоже не напечатали. Сейчас я был четыре дня, работал как проклятый в Архангельске, там принималась премьера «Дома». Ну, естественно, автор для земляков своих выкладывается полностью. И я ни дня, ни ночи четыре этих самых дня не видел, работал... С интеллигенцией встречался и толково побеседовал, не вру. Ну, казалось бы, хоть маленькую-то заметочку, отклик в газетке, информировать... Нет. И заговор молчания вокруг «Дома», к которому, кстати сказать, очень неравнодушно относятся сами архангелогородцы и который, конечно, надо хвалить — прежде всего артистов, потому что артисты в этом спектакле играют нечто невиданное. Одни и те же артисты играют двадцатилетних и сорокалетних, потому что там идут два спектакля: «Две зимы и три лета» и «Дом». Ну, я надеюсь, что когда-нибудь при моей жизни (или после) у меня с «Правдой Севера» тоже отношения будут хорошими.

— *Есть ли принципиальная разница между нравственным обликом сельской и городской молодежи?*

— Не знаю, это вопрос сложный, к этому делу надо подключиться социологическим институтам, которых у нас много. Да, это проблема невыдуманная. Я бы сказал, что я и в деревне встречаю очень хороших ребят, и в городе.

— *Как отнеслись родители к вашей писательской деятельности?*

— К сожалению, родителям не пришлось испытать чувство огорчения или радости. Отец умер, когда мне шел второй год, а мама умерла в сорок седьмом году. И последние семь лет она была скована параличом.

— *Кто вам больше нравится: человек послевоенной деревни или деревни сегодняшней? Что ушло и что пришло в характер?*

— Об этом можно говорить долго. Но я переживаю как величайшее горе смерть каждого старого человека в моей деревне.

Для любителя рощи — не все равно, когда вырубают ее и исчезает дерево за деревом. И в моей деревне на моей памяти один за другим падают кряжи. Великолепные люди, которых по-настоящему-то только сегодня и понимаешь. Я жизнелюб, но бывают минуты, когда я иду по своей деревне и на меня дует пустотой. Ну, а потом проходит.

— *Часто ли вы встречаетесь со своими читателями? Представляете ли своего читателя, как ощущаете связь с ним?*

— Связь прежде всего через письма. Выступаю я не часто, хотя предложений бывает много. У меня много других обязанностей: я в Ленинграде один из секретарей писательской организации, я секретарь Союза писателей СССР, кандидат в члены Ленинградского горкома партии... И, конечно, приходится отказываться от многих выступлений перед читателями, хотя, конечно, я всегда чувствую себя как самый распоследний сукин сын.

— *Культура личности — что вы вкладываете в это понятие?*

— Прежде всего культурный человек для меня — это не обязательно человек с высоким образованием. Культурным человеком, и так было в старину, в деревне, может быть и неграмотная старуха, неграмотный старик. Культурный человек определяется, на мой взгляд, прежде всего своим строем души, минимальным эгоцентризмом и самой широкой открытостью людям, жизни, желанием прийти в любую минуту, в любых обстоятельствах на помощь павшему и падшему, проявить милосердие и, конечно, быть требовательным к себе прежде всего, а следовательно, и к людям; короче говоря, руководствоваться самым надежным самоконтролем, самым надежным судом, имя которому совесть.

— *Как случилось, что большинство ваших героинь — русские женщины, что они во многих произведениях потеснили мужчин?*

— Ради ответа на этот вопрос я, пожалуй, встану. Я уже говорил о лирических причинах, почему меня так привлекают женщины. Прежде всего женщина мне дорога своей ролью в нашей жизни. Мужчина пришел с работы — большинство к телевизору. У женщины, и это

мы все хорошо знаем, после рабочего дня на предприятии, в школе, на фабрике, дома начинается второй рабочий день, не менее сложный, не менее трудный, а может быть, и тяжкий. Это беготня по магазинам, дети, обедишко какой-никакой надо сварганить, постирать, и так далее, бутылку вырвать из рук мужа, направить его на путь истинный, образумить... Короче говоря, шутки шутками, но работы у женщины чрезвычайно много, и некоторые наши эмансипированные женщины сегодня наверняка кричат: «Назад, даешь домострой, даешь закрепощение». Это в нынешней жизни. А что сказать про войну? Из моей родной деревни Веркола ушла целая рота мужиков, сейчас в клубе на самом видном месте висит список в траурной рамке погибших, не вернувшихся с войны — сто двадцать восемь мужиков. Так вот, русская женщина, русская баба, сельская баба (я не говорю о городской, беру только этот пример), во время войны впряглась во всю эту работу. То, что раньше мужики пахали поля и сено ставили и... прочее, все это она взвалила на свои плечи, и, будьте покойны, она это делала не хуже мужиков. Пройдитесь по сегодняшним полям, — они запущены наполовину, так ведь техники сегодня сколько, тракторов одних сколько, а сенокос? А вот эта самая баба с одной косилкой, с одним плугом, с серпом — она все выжинала, она хлебом кормила фронт, и похоронки на нее сыпались в это время, и детишек нужно было оприютить и как-то обиходить, сохранить хоть корень мужа, убитого на войне, хоть фамильный корень. Я все это видел, и когда у нас говорят, пишут, что второй фронт в эту войну был открыт в сорок четвертом году, — это неверно. Второй фронт был открыт русской бабой еще в сорок первом году, когда она взвалила на себя всю эту мужскую непосильную работу, когда на нее оперся всей своей мощью фронт, армия, война. Я уже не говорю о подвигах той же русской женщины после войны. Ведь, бедная, думала, что война кончилась — начнется жизнь, а война кончилась — к ней снова: давай хлеб, давай молоко, корми города, давай лес, кубики. И если бы вы знали нашу лесную Россию, сколько поколений девушек были повенчаны с пнем в лесу вместо мужика... А безотцовщина? Трудно даже вообразить, что все это пало на плечи русской женщины. Я не буду сегодня говорить о той роли, которую сыграла русская женщина в истории, ведь и в прошлом Россия всей тягостью опиралась на

женщину. Таково было положение в России, что большую часть своей жизни наш мужик воевал. И вот очаг домашний, тепло домашнее, песня — все это теплилось и взрастало новое поколение прежде всего вокруг женщин, это нельзя забывать никогда. И, конечно же, русская баба, русская женщина достойна самых великих памятников К сожалению, наши памятники не всегда отвечают этому. Всегда ли узнаешь в грудастой бабе с поднятой шпагой нашу мать, с ее бесконечной любовью, с ее способностью к великому самопожертвованию, с ее вечным страхом и заботой и робостью в глазах. Я верю, я надеюсь, что у нас наряду с этими монументальными образами появятся памятники, когда на пьедестал шагнет простая, всем знакомая русская женщина-мать.

1981

СЮЖЕТ И ЖИЗНЬ

1

Нынешним летом, когда я приехал в свою родную деревню, на меня ворохом посыпались новости. И новости все довольно ободряющие, вроде той, например, что с этой осени нашу деревню подключают к государственной электросети.

Но, по правде сказать, меня больше всего взволновала одна частная, чисто человеческая новость — недавняя свадьба у пекарихи Евдокии, которая выдала замуж свою последнюю дочь.

Пекарихой Евдокией — так у нас называют Евдокию Трофимовну, мою бывшую соседку,— я восхищался всегда. Восхищался живым, деятельным умом, ее житейской и хозяйственной сноровкой. И, конечно же, ее трудолюбием. Человеку давно уже за пятьдесят, здоровьишко так себе, дети все пристроены — ну чего, казалось бы, убиваться, чего не сидеть дома? А она работала. Она каждый день в любую погоду — в осеннюю грязь и слякоть, в зимнюю лютую стужу, в весеннюю распутицу — шлепала за реку на свою пекарню...

С самой Евдокией я столкнулся на улице на другой день — она возвращалась из магазина с какими-то покупками — и, разумеется, первым делом поздравил ее с семейным торжеством: замужеством меньшой.

В ответ — ни слова. Только по-старинному учтивый, но холодный кивок.

Я с недоумением пожал плечами. И тогда Евдокия заговорила:

— Слыхали, слыхали, Федор Александрович, как меня прописал... Сказывали... Пелагея сундуки накопила... Пелагея на ситцах да на крапдешинах помешалась... Две плюшевки заимела... А того не слыхал, как Пелагея робила? Муж больной, сколько лет тресучись ходил да лежкой лежал, свекор немощен, мать-свекровушка тоже рукой не пошевелит, четыре девки мал мала меньше... Дак, как думаешь, легко Пелагее было? О сундуках Пелагея думала?

Оправившись от первого изумления, я начал горячо оправдываться, уверять Евдокию, что ей неверно наговорили, что Пелагея — это вовсе и не она, Евдокия, и в доказательство привел, как мне казалось, совершенно неотразимый довод: Пелагея, героиня моей одноименной повести, в конце произведения умирает, а она, Евдокия, слава богу, не только жива, а еще и работает, да так работает, что и молодой за ней не угнаться.

Ничто не помогло. Евдокия осталась при своем мнении. Мы расстались холодно.

2

Знаю, какой-нибудь сверхстрогий критик, прочитав эти строки, наверняка воскликнет: «Ага, так вот как мы обрабатываем действительность! В жизни героиня здравствует, с честью выполняет свои нелегкие обязанности, а автор ее того... уморил!»

Нет-нет, успокойтесь. Никакого очернительства, никакого насилия над человеком, хотя, конечно, литература далеко не простое зеркальное отражение жизни, и автору приходится нередко трансформировать ее самым крутым образом.

Но в данном случае, в случае с Пелагеей, дело обстоит куда проще. В данном случае у автора была не одна Пелагея, а по меньшей мере три. И тут мне еще раз придется вернуться к Евдокии.

Хотя я и уверял ее при нашей последней встрече, что она ничего общего не имеет с Пелагеей, но все же в интересах истины я должен признать, что первый-то росток моей будущей повести дала она, Евдокия. Вернее, одна встреча с ней.

Было это давно, лет десять-двенадцать назад Я только что приехал в свою родную деревню и, как всегда, первым делом вышел на «горочки», то есть на угор, на котором стоит наша деревня, полюбоваться цветущими лугами внизу, красавицей Пинегой, старинным белокаменным монастырем за рекой. Но два человека, которые попались тогда мне на глаза, заслонили собой все: и красоты родной природы, и монастырь.

Это были Евдокия, в ту пору еще не старая, довольно крепкая женщина, и ее муж Петр. Петр был очень болен. По рассказам соседей, он целый день лежал дома на кровати и лишь к вечеру кое-как выползал из избы и добирался до косогора за дорогой, чтобы встретить свою жену, возвращающуюся с пекарни из-за реки.

И вот сейчас я был свидетелем этой встречи. Встречи двух людей: одного — бледного, безнадежно больного, с трудом переставляющего свои непослушные ноги в серых растоптанных валенках, а второго — запотелого, зажарелого, целый день выстоявшего у раскаленной печи на пекарне да еще вдобавок только что поднявшегося с тяжелым ведром хлебных помоев в крутую гору.

Но, боже мой, какое глубокое чувство вязало этих двух людей!

— О горюшко ты мое луковое! — жалобно запричитала женщина, едва поставив ведро на землю. — Да зачем же ты опять вышел-то? Зачем наминать свои больные ноженьки? Разве я сама не дойду?

А мужчина от волнения говорить не мог. Мужчина, тот просто всхлипывал и, с трудом переступая с ноги на ногу, как ребенок малый, тянулся к ней руками...

В тот вечер, до слез взволнованный этой сценой, я записал ее в свою записную книжку, а на другой день, после бессонной ночи, принялся писать рассказ.

Но, увы, рассказа у меня не получилось. Получилась всего лишь идиллическая, душещипательная картинка, в которой не было еще ни характеров, ни сколько-нибудь значительной мысли.

Короче говоря, я скоро понял, что, для того чтобы росток, угнездившийся в моем писательском воображении от встречи с Евдокией и Петром, дал зеленые побеги, мне нужно время, нужны серьезные раздумья и новые жизненные впечатления.

За жизненными впечатлениями дело не стало. Они пришли, как всегда, сами собой и совершенно неожиданно.

Как-то раз, года три спустя после встречи с Евдокией и Петром, я оказался в одном маленьком среднерусском городке, в кабинете секретаря райкома. И вот этот секретарь, наставляя при мне своего инструктора, отъезжающего в командировку в один совхоз, вдруг бросает:

— Да, вот еще что. Буханочку черного хлеба прихвати оттуда, если не трудно. Для меня.

Помню, меня тогда очень удивила эта просьба. Что за причуда? Разве в райцентре хлеба нет?

— Да есть, как нету! — начал оправдываться смущенный секретарь. — Хлеба давно у нас вдоволь. Да там пекариха больно хороша. Хлеба печет — пальчики оближешь. Наш хлеб против ее хлеба — замазка...

Надо ли говорить, как «дрогнуло» при этих словах мое писательское сердце и как бурно заработала моя писательская фантазия.

А второй случай, который, быть может, еще больше помог мне окончательно уяснить характер Пелагеи, а следовательно, и сюжета повести, — это история жизни одной работницы железной дороги, рассказанная мне три года назад на Ярославщине, куда я частенько наведываюсь весной и летом.

Так вот, работница эта, в свое время хватившая немало лиха, во всем отказывала себе — в еде, в одежде, в обуви, работала на износ, в две смены, и все это ради дочери, все это ради того, чтобы ее единственная дочка ни в чем не знала нужды, вышла «в люди». Конец этой истории, как и надо было ожидать, оказался печальным. Дочка выросла черствой эгоисткой. После восьмилетки она укатила в город и навестила свою мать только тогда, когда та была уже в гробу...

Таковы главные жизненные толчки, импульсы, которые дали, так сказать, земную, «материальную» основу «Пелагеи».

3

Подобным же образом я, вероятно, мог бы рассказать и о жизненной основе моих романов «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета». И в них, этих романах, за каждым героем так или иначе стоит живая натура, живая модель. Так, например, с прототипом главного героя «Двух зим...» Михаилом Пряслиным я встречаюсь на своем Пинежье каждое лето. И не только

встречаюсь, но и беседую с ним. Но, боже мой, как мало похож этот здоровенный мужчина с твердым, упрямым взглядом на того совестливого и самоотверженного парня, которого читатель знает по роману! Да и это понятно. Писатель не фотограф. От реального человека он берет порой лишь какую-либо поразившую его черточку, ту «живинку», без которой любой созданный им образ всего лишь мертвая и безжизненная схема.

В связи с романами «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета» мне хотелось бы сказать о другом — о роли автобиографического материала в сюжете этих книг. Конечно, в творчестве писателя в той или иной мере все автобиографично, все пропущено через его сердце, но в моих романах, в отличие от некоторых повестей и рассказов, эта автобиографичность особого рода. Скажем, не будь в моем личном опыте раннего безотцовства, чувства повышенного долга перед семьей, перед родными, я бы, вероятно, никогда не смог написать пряслинскую семью, постигнуть, так сказать, красоту и радость взаимовыручки, самопожертвования во имя ближнего.

С другой стороны, в разгадке характера русского человека, его великой стойкости и душевной щедрости, чему посвящены мои романы, решающую роль для меня, как и для многих писателей моего поколения, имела минувшая война.

В конце зимы сорок второго года меня, тяжелораненого фронтовика, вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю. После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине — в глухих лесах Архангельской области. И вот тут-то мне и посчастливилось увидеть своих земляков во весь их богатырский рост.

Время было страшное. Только что подсохшие степи юга содрогались от гула и грохота сражений — враг рвался к Волге, а тут, на моей родной Пинеге, шло свое сражение — сражение за хлеб, за жизнь. Снаряды не рвались, пули не свистели, но были «похоронки», были нужда страшная и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные бабы, старики, подростки.

Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но еще больше — мужества, выносливости и русской душевной щедрости. И вот на основе всего увиденного

и лично пережитого и родился впоследствии мой первый роман «Братья и сестры», а затем его продолжение — «Две зимы и три лета».

4

Интуиция, вдохновение, озарение... Или, как я назвал бы все это, невидимая химия творческого процесса, происходящего где-то в глубинах нашего сознания и проявляющая себя в виде внезапных «мыслительных» вспышек и эмоциональных разрядов...

Область загадочная и совершенно не изученная. Да и вообще — поддается ли она изучению? В самом деле, занимаешься совершенно другим делом — пишешь, читаешь, гуляешь, разговариваешь, и вдруг тебя «озаряет», вдруг твой мозг «срабатывает» в сторону давно задуманного, но по тем или иным причинам отложенного произведения, начинает «выдавать» мысли, детали, нужные слова.

Я этими «даровыми» находками очень дорожу, так как они обладают силой и свежестью первозданности, без которой нет искусства. И все же довольно об этом. Что толку говорить о той стороне писательской работы, повторяю, чрезвычайно важной, быть может, решающей в создании подлинно художественного произведения, которая почти совершенно не зависит от твоих усилий!

Мне кажется, гораздо важнее подчеркнуть значение логического, рационального начала в творческом процессе. Тут, в этом вопросе, у нас далеко нет единства. Я знаю писателей, даже одаренных писателей, которые с каким-то смущением говорят об этом, словно рассудок принижает их как художников, низводит до уровня ремесленников. А вот сказать, что это у меня вылилось в один миг, само собой — это считается признаком истинного таланта. К сожалению, эти «утробные», «селезеночные» настроения поощряются порой и нашей критикой.

Я не скрываю. Я — за анализ, за мысль, за исследование. И в этом плане, мне думается, работа писателя мало чем отличается от работы ученого. Во всяком случае работая над «Пелагеей», мне пришлось не раз и не два обдумывать прошлое нашей деревни, пути развития нашего общества в послевоенные годы. А как же иначе? Где, как не в прошлом, искать отгадку сложного, противоречивого характера героини, которая сов-

мещает в себе и вдохновенного труженика, я бы сказал даже, поэта труда, и обывателя, зараженного бациллой приобретательства?

Думаю, не обойтись писателю и без некоторых изысканий литературоведческого порядка. Скажем, знание опыта своих предшественников. Ну, разве мыслимо было мне, например, браться за «Две зимы и три лета», не разобравшись в том большом и сложном хозяйстве, которое называется послевоенной прозой? Нельзя же в самом деле писать по принципу: а вот дай-ка я еще покажу, как было это в моей деревне!

Да что там ломиться в открытые ворота! Кому не известно, что произведение, не освещенное большой и оригинальной мыслью, не может подняться над уровнем фотографической зарисовки, а следовательно, не может претендовать и на внимание своих современников.

Особо хочу сказать об изображении так называемых послевоенных трудностей. Убирать ли рытвины и ухабы с пути героев, выравнивать ли их дорогу?.. Но кому от этого польза? Разве не ясно, что, преуменьшая действительные трудности и лишения, которые наш народ преодолел в своей битве за лучшее будущее, мы тем самым — хотим этого или нет — обкрадываем его, преуменьшаем исторический подвиг советских людей?

5

Когда кончается работа писателя над сюжетом? В ту пору, когда он ставит последнюю точку в своей рукописи?

В основном — да. Но нередко бывает и так, что мысль о совершенствовании своего детища не покидает писателя всю жизнь. И это вызвано не только его профессиональной взыскательностью и требовательностью к себе. Это связано и с его духовным и интеллектуальным ростом, с углублением его представлений о том предмете, которому посвящено произведение.

Между прочим, именно этим прежде всего объясняется стремление некоторых писателей к доработке и переделке своей книги уже после того, как она побывала в руках читателя. Мне кажется, это стремление — в интересах литературы — надо поощрять. Мне, например, окончательно найти сюжет «Пелагеи» помог А. Т. Твардовский. Помню, как, прочитав повесть, он сказал:

— Как будто бы все есть. Есть характеры, есть среда, есть слово, а вещи нет.

Должен признаться, что я и сам не был удовлетворен своей «Пелагеей», но конечно, только выслушав мнение такого авторитетного и глубоко уважаемого мной человека, я начал «прозревать». Короче говоря, после долгих раздумий я пришел к выводу, что ошибка моя заключалась в концовке повести, где после смерти Пелагеи у меня в первом варианте шла еще довольно подробная история жизни Альки в городе. И вот оказалось, что эта история, сама по себе любопытная и, кажется, неплохо написанная, в этой повести лишняя, так как она переключает читательское внимание с главного образа на сравнительно второстепенный, а значит, и ослабляет идейно-эмоциональный накал вещи.

В заключение мне снова хотелось бы вернуться к тому, с чего я начал эту статью, — к Евдокии. Я не уверен, что этот номер газеты дойдет до нее. И как знать — не просветит ли ее опять кто-нибудь по-своему?

Пусть. Мне все-таки после этой статьи легче будет встретиться с нею в следующий раз.

1971

КОЕ-ЧТО О ПИСАТЕЛЬСКОМ ТРУДЕ

Беседа с корреспондентом журнала «Вопросы литературы»

— Мой первый вопрос к вам, Федор Александрович, отчасти «запрограммирован» вашей творческой биографией. Начинали вы как литературовед и критик, а теперь вот прозаик... Смежные области, но расстояние между ними немалое: разные типы творчества. Что привело вас к художественной прозе?

— Когда сопоставляют литературоведение и художественную прозу, то обычно акцент ставят на слове «разное». Но я не вижу пропасти между первым и вторым. Я думаю, литературоведение по своей природе не может быть столь же «чистой» наукой, как, скажем, физика или химия. Оно полу-полу — и наука, и искусство одновременно, и должно говорить языком, обращенным не только к уму, но и к сердцу читателя. Другое дело, что на практике во многих ученых трудах возобладало

сухое, гелертерское начало. Иные ученые произведения, даже и докторов наук, не назовешь иначе как опусами, словом обидным, но, увы, заслуженным. Имя таким работам — серость. Но серости сегодня хватает везде и всюду. А в прозе мало ее? Мало, что ли, у нас романов и повестей безъязыких, начисто лишенных какой-либо мысли? И в литературоведении, и в прозе все определяет масштаб личности пишущего. Большой это масштаб — и произведение большое, интересное для меня как читателя. Разве скучно читать ученого Веселовского или, скажем, ныне здравствующего академика Лихачева? Повторяю, нет пропасти между наукой о литературе и самой литературой. Так что приход мой в художественную прозу не так уж и загадочен.

— *Ваша работа в литературоведении была чем-то вроде подготовительного этапа?*

— Вот именно «чем-то вроде». А по существу...

Я вышел из крестьянской многодетной, рано осиротевшей семьи. Когда умер отец, нас на руках у матери осталось пятеро. Причем старшему было 15 лет, а младшему 2 года. Младшим был я. И вот так: товарищи твои на улице играют, детство свое «справляют», а ты вкалываешь, ты кусок хлеба насущного в поте лица своего добываешь. Я и теперь без удивления не могу вспомнить, что натворила наша ребячья семья за восемь лет безотцовщины. К 1930 году, к колхозам, как говорят у нас в деревне, мы имели хозяйство, которому мог бы позавидовать самый работящий мужик: две лошади, две коровы, «сенной» бык, десятка полтора-два овец.

Но, понятно, детство есть детство, и была не только работа — была учеба. С детских лет звание писателя было для меня священным, хотя первую художественную серьезную книгу я прочитал едва ли не в седьмом классе. Пятьсот верст от города — не шутка! Среднюю школу я окончил с успехом, поступил в университет, а затем в аспирантуру. Я мечтал о писательской работе, однако мог ли я тогда предаться «вольным художествам», когда братьям и сестрам нужна была помощь? И вот я задумал совместить научную и писательскую работу. В университете, уже защитив диссертацию, в летние каникулы я начал писать свой первый роман «Братья и сестры». Немного смешно сейчас вспоминать, как я думал тогда: вот, мол, я ученый и не могу начинать с малых форм, с рассказов, а обязательно должен «потянуть» роман. Писал я его, кстати сказать, семь

лет. Писал и сомневался и никому не показывал до полного завершения работы. Наконец понес в «Неву», и в 1958 году журнал напечатал мою первую вещь. Критика доброжелательно встретила ее, и сам я, кажется, был доволен (сегодня я хорошо вижу слабости романа, свою неопытность). Но выбрать писательский путь как единственный свой путь я не сразу решился; еще два года оставался в университете. Пуститься ли в свободное плавание? Есть ли для этого основания? Не написать «Братья и сестры» я просто не мог. Я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой немало было розовой водицы. Пожалуй, только «Марью» Медынского можно поставить особняком. Мне захотелось поспорить с авторами тех произведений, высказать свою точку зрения. Но главное, конечно, было в другом. Перед глазами стояли картины живой, реальной действительности, они давили на память, требовали слова о себе. Великий подвиг русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт, фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт русского мужика, — как я мог забыть об этом!

— *С третьего курса университета вы, кажется, ушли на войну добровольцем?*

— Да. Дважды был ранен, пережил самые страшные месяцы блокады и довольно быстро отвоевался. Летом сорок второго года, во время отпуска после второго ранения, мне въяве — в работе, в немыслимых лишениях и бедах, в невиданной героике и душевной стойкости — удалось увидеть родное Пинежье, русскую деревню. И это осталось во мне на всю жизнь. Так вот, «Братья и сестры» были написаны потому, что яростно давил «материал жизни», но я прекрасно понимал, что есть писатели одной книги. Суждено ли мне написать вторую и третью? Я рискнул. В 1960 году я оставил кафедру. Шутники утверждают, будто это единственный случай, когда непенсионного возраста завкафедрой добровольно уходит со своего служебного места.

— *Все-таки не совместились литературоведение и проза...*

— Литература требует полной самоотдачи. Она ревнива, как самая ревнивая жена. Она не терпит соперничества, раздвоения, конкуренции другого дела. Что такое талант? Это верность себе, избранному пути, но это обязательно — самоограничение. Способностями одарены все. Но каждый ли может отречься от «лишнего» в себе?

— Федор Александрович, беседа наша развивается так, что касается пока «смежных» жанров искусства слова. Чуть продолжим это ее направление. Я просил бы вас высказать свое суждение о соотношении художественной прозы и публицистики, тем более что просматриваются, как мне кажется, в ваших произведениях элементы, которые при желании могут быть названы публицистическими.

— Публицистическими в смысле наличия интеллектуального начала в искусстве?

— Пожалуй, да.

— В таком случае я обеими руками и ногами за публицистику. Тем более что у нас еще не изжита некая «селезеночная теория». Согласно оной писать надобно, как подсказывает тебе твое богатое талантливое писательское «нутро», а все остальное — от лукавого. Ведь советуют даже: не читай, мол, много — повредит твоей самобытности. Попробуй заикнись в разговоре с такими теоретиками: «анализирую, думаю», — так распушат мигом. Это все, дескать, «рационалистическое, социологическое»! И просто первородный грех. Разговоры такие бытуют, но за ними большей частью — невежество, леность мысли. Конечно, без окрыленности, без доверия к себе, к своей интуиции ничего хорошего не выйдет из-под пера. Конечно, есть таланты стихийные, так сказать, нутряные. Но ведь существуют таланты и рационалистического склада. Большой же талант объединяет в себе эти два начала. Надо ли говорить о Пушкине, Достоевском, Толстом — писателях великих и своей философией, и огромным проникающим чувством?

Разговор о публицистике в художественной прозе может, думается, иметь и другой поворот. Я имею в виду так называемый документализм, который с такой властностью заявил о себе в современной литературе. Простой, голый факт потрясает сегодняшнего человека часто больше, нежели самые большие ухищрения художественного вымысла. Я лично охотно использую документ. Скажем, в романе «Две зимы и три лета» приводится «обязательство», по которому колхозник в послевоенное время должен был сдавать мясо, молоко и другой продукт, часто его не имея и заменяя откупной ценой. В роман также включены отрывки из газет, которые передают колорит времени, индивидуальные черты времени, запах времени. Вообще я сторонник такой прозы, из которой можно узнать, что ели и пили люди в

ту или иную пору как одевались, почем покупали хлеб, как о них писали в газетах и т. д.

— *Очерковый элемент вы внутренне соподчиняете с другими элементами художественной структуры?*

— Естественно. Произведение — давно сказано — симфония. В нем, как и в самой жизни, взаимосвязаны элементы различного качества, иногда взаимоисключающие друг друга, но тем не менее соучаствующие в гармонии целого. Они создают движение целого, перебивы, чередования, смену одного другим. Настоящее произведение не однообразная, голая, унылая равнина, а рельеф с выпусклостями и впадинами, с обрывами и курганами, с реками, озерами, лесами. Рельеф — это меняющийся ритм, меняющиеся темы, синтаксис, интонация. Это неодинаковые принципы построения ситуации, в которой действует герой, и многое другое. Что же касается собственно публицистики, то это большая и важная часть литературы. Необходимейшая. Просто временами она выступает на первый план, привлекает к себе особенно пристальное общественное внимание, а временами уступает свое место другим жанрам литературы. В 50-е годы публицистика во главе с Овечкиным поработала особенно полезно. Сейчас ее роль меньше. Но это не потому, что жанр «исчерпал свои возможности». Задачи сегодня эпоха ставит перед искусством более широкие, чем те, по сути экономические, проблемы, которыми жил очерк в 50-е годы. Нужны бóльшая объемность мысли, большее дерзание, более крупные заявки. А всегда ли — чего там греха таить! — поддерживают у нас публицистическую смелость? Исследование жизни литературой не должно замедлять темпа...

— *Исследование жизни...*

— Да, да! Исследование, анализ — первооснова творчества. Вопрос, который для сегодняшней литературы является, быть может, вопросом номер один. Но прежде одно маленькое уточнение. На мой взгляд, исследование жизни нельзя сводить к простому освоению ее. То, что писатель время от времени выезжает на натуру, живет жизнью своих будущих героев, дышит их воздухом, ходит по их земле, — все это элементарно. Все это еще начальная, я бы сказал, «подножная» стадия изучения жизни. Настоящее исследование действительности начинается, когда в работу включается интеллект, разум, а это часто бывает не в самый момент соприкосновения с живой жизнью, поразившим тебя чело-

веком, а позже, на дистанции, у себя в кабинете за рабочим столом.

Поощрение исследовательского, аналитического начала поможет нам быстрее избавиться от таких недостатков, как серость, описательность, натуралистическое копирование, мелкотемье и безмыслие, — недостатков, которыми не в меньшей степени страдают и наши собратья по перу — критики и литературоведы. Вместе с тем хочу решительно подчеркнуть, что все сказанное мною в похвалу мысли ни на йоту не умаляет значения чувственной, материальной основы художественного творчества. Больше того, я думаю, что каждый работающий в искусстве должен иметь свою тропку в жизни, свой обжитой край, исхоженный босиком, политый детской слезой. У меня есть такая своя страна детства — Пинега. Каждый год летом езжу туда и каждый раз обязательно что-то новое для себя открываю. Приезжаешь и просто живешь — встречаешься со старыми приятелями, отправишься на конюшню и на сенокос, послушаешь, о чем люди на собрании говорят, а то и так бродишь, вдыхаешь родной воздух или рыбачишь. Но все-таки прицел имеешь. Иногда ищешь героя для новой вещи; сверяешь черты задуманного образа с реальными человеческими лицами.

Два года назад, например, я всю Мезень изъездил в поисках персонажа, который мне был нужен, — человека яркой, творческой индивидуальности, дерзающего, совершенно свободного от какого бы то ни было чинопочитания.

— *Речь идет, вероятно, о Зарудном, герое вашего нового романа, опубликованного в первых номерах «Нового мира» за прошлый год?*

— Да, о Зарудном.

— *Критика по-разному писала о главном герое вашей трилогии — Михаиле Пряслине, то безоговорочно относя его к положительным персонажам, то усматривая в нем человеческие изъяны. Что вы сами думаете об этом?*

— Я вообще не очень склонен делить людей на положительных и отрицательных, но уж коли такое деление существует, то я бы причислил Михаила к людям глубоко положительным. А как же? На таких, как он, жизнь держится, земля стоит. Он принадлежит к тому поколению деревенских мальчишек, которые на своих плечах войну вытянули.

— Работа подростка, а затем юноши Михаила — подвиг. Он выносит огромную для своих лет жизненную нагрузку. И все-таки в самом его положении есть нечто предопределенное. Активное духовное начало в нем как будто особенно не выработалось. Он бледнеет, если поставить его рядом с вашей Милентьевной из «Деревянных коней».

— Ну, ну, не скажите. А совесть? А верность?

— Но он не раз завидует ловкачу и удачнику Егорше.

— Так ведь живой же человек Михаил! Что вы хотите? Парень везет всю жизнь такой воз, и чтобы ни разу не охнуть! Да, да, Михаил везет то, что возложено на него войной, теми, кто не вернулся с войны.

— Характер Михаила многогранный, он сама жизнь — это бесспорно. Самосожжение во имя семьи и обида на эту же семью, подчас жестокость, подвижничество, какие-то ростки честолюбия. Словом, сила и слабость героя перетекают друг в друга. Но чего просит его душа?

— Как чего?! Того же, чего просит каждая порядочная и честная душа. Правды, полного и скорейшего торжества справедливости в жизни. Но он не из тех, кто только разглагольствует на эту тему, не из породы тех праздных болтунов, которых у нас хоть отбавляй. Он делом своим, каждым прожитым днем борется за справедливость. Конечно, Михаил не брат родной толстовского князя Андрея. Ему не пришлось учиться, и с семью классами, да и то неполными, много не нафилософствуешь. Но его самоотверженность, прямо-таки от души, от сердца идущий труд, его полная самоотдача семье, тем, кого ушибла война, его исступленная, ни на минуту не затихающая — *пряслинская* — совестливость, его всегдашняя готовность вступиться за слабого, за обиженного — разве этого мало? Разве это не составляет тот духовный и нравственный фундамент, на котором стоит вся наша жизнь? Так что о какой же духовной ограниченности можно говорить в отношении Михаила? Наконец, не могу не обратить ваше внимание на новые черты в характере Михаила, которые он проявляет в «Путях-перепутьях». Помните, какие сложные драматические события развертываются в Пекашине на рубеже 40—50-х годов? И вот Михаилу приходится определить свою позицию. И эта позиция — граж-

данская. В трудное время Михаил своими поступками доказывает, что он человек, а не тварь дрожащая.

Короче, рождается новое самосознание у моего героя.

— В «Путях-перепутьях» едва ли не на первый план вышел секретарь райкома Подрезов, фигура могучая и противоречивая, которая была заявлена еще в романе «Две зимы и три лета». Это произошло самопроизвольно, или есть какая-то закономерность?

— Думаю, что есть. Евдоким Подрезов из того героического племени районщиков, которые вынесли на плечах своих первые пятилетки, войну и послевоенные трудности. Я знал этих людей, нешибко грамотных, прокаленных и продубленных всеми ветрами жизни, знал и с детства восхищался их невероятной энергией, способностью опалить, зажечь словом души людей восхищался их суровой, солдатской жизнью, граничащей порой с полным аскетизмом. Таков мой Подрезов. Вместе с тем он сын своего времени, человек крутой, властный, воплощение так называемого волевого руководства.

Партия, как мы знаем, решительно осудила метод волевого руководства, который полностью исчерпал себя, стал помехой и тормозом в жизни, — за эти годы народился новый тип вожака. В условиях Севера — а именно на Севере развертываются события в моих романах — этот тип в партийном и хозяйственном руководстве заявил о себе прежде всего в лесном деле, — там как раз в это время начался коренной перелом, можно сказать, началась целая техническая революция. Вот поэтому-то я, как уже говорил, в поисках нового героя, идущего на смену Подрезовым, и колесил по всему Северу.

— Федор Александрович, ваша трилогия — романы «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» — повествует о делах 40—50-х годов. Увидим ли мы ваших героев в сегодняшнем дне?

— Сейчас я работаю над четвертой, завершающей книгой цикла, и события в ней развиваются буквально в наше время.

— Широко раздвинулся ваш первоначальный замысел. Он постепенно вызревал?

— Тетралогию я задумал почти сразу после завершения первой книги. Захотелось дать срез последнего тридцатилетия крестьянской жизни России, воздать

должное деревне. На ней, на деревенской ниве, всколосилась русская культура, этика, язык.

Вместе с тем мы живем в век необратимой урбанизации, в век научно-технической революции, которая глубже всего коснулась сельщины. Деревня в ее исконно патриархальном виде, весь деревенский организм, складывавшийся на Руси веками, сегодня исчезает, и, увы, исчезнет безвозвратно. Увы, потому что далеко не все можно приветствовать в этом трудном и противоречивом процессе.

С одной стороны, НТР для деревни — благо, она несет людям деревни хорошие условия труда, приобщает их ко всем богатствам современной культуры, благам городского быта.

А с другой стороны...

Скажу о Русском Севере. Воспитанный в серьезных трудовых традициях, русский крестьянин являл собой пример честности, совестливости, делового доверия, не требующего подкрепления никакими «бумагами». Существовали, конечно, изуверы, охотники пожить за счет другого, но в семье, как говорится, не без урода. А какое чувство красоты жило в народе! Какие сказочные вещи делали из дерева, бересты! Старые дома на Севере — дворцы, недаром их называли хоромами. А теперь от Белого до Черного моря — стандарт. Не оброню худого слова и о русских храмах, которые ведь не только культовыми сооружениями были. И как жалко, что нынешний клуб во многих деревнях все еще напоминает по своему внешнему виду давно уже отживший барак или коровник. Недурно, совсем недурно было принятое в деревне уважение к слову старшего, — нравственная прочность есть в этом почитании авторитета прожившего жизнь человека. И когда такие вот добрые нравственные начала вымываются, выщелачиваются «химическими процессами» современности — бить от радости в ладоши, что ли? Нет, когда расстаются с матерью родной — а деревня мать наша, — не пляшут и не скачут. Как отразятся все нынешние перемены на характере русского человека?..

Задача наша в том, чтобы сохранить и приумножить духовные ценности, которые накапливались на протяжении вековой истории.

— *Судя по этим высказываниям, вас сейчас занимают вопросы исторические, философские?*

— Меня всегда они занимали. Я давно уже задумал

написать большое повествование, начиная этак с 1900-х годов и кончая нашими днями. С этой целью я даже в 1960 году с двумя стариками, участниками гражданской войны, пропахал на плоту всю Пинегу, ибо основные события будут развертываться опять на Пинеге. Помнится, Александр Трифонович Твардовский как-то сказал мне: «У вас есть география вещи». Я очень дорожу этим отзывом и в своих сочинениях стараюсь быть предельно конкретным и достоверным.

Так вот, в задуманном мною повествовании хочется поразмыслить над коренными вопросами века: что происходит с человеком на протяжении длительного исторического периода? Как меняются жизненные ценности для человека?.. Все ли довольны сегодня одним тем, что сыты, одеты? Как возникает тоска по духовным ценностям? Вероятно, всяческие материальные блага, когда они маячат как цель, — вещь необыкновенно притягательная, а когда они приходят наяву, от них хочется оттолкнуться, устремиться к чему-то высшему.

Я мечтаю поразмышлять о судьбах страны, о сути глубинных исторических процессов, о том, откуда «все началось» и что такое есть наш нынешний 1974 год?

Хочется вопросить прошлое: как время меняет национальный характер; что такое есть русский крестьянин; как происходило раскрестьянивание русского человека?.. Но когда дойдет до всего этого очередь? Ведь в заделе лежат еще повести, рассказы.

— *Федор Александрович, как возникают замыслы ваших произведений?*

— Общего правила нет. Иногда иду от чувства, иногда от факта, от поразившего меня лица человеческого, иногда — от потребности разобраться в конкретном событии, случае. Что-то взволновало — вот и замысел.

— *Интересно, есть ли отличие между замыслом, скажем, рассказа и романа? Есть предопределенность жанровая в замысле?*

— Роман ли получится, рассказ ли — часто решается неосознанно. Хотя в чем-то и совершенно осознанно. Вероятно, «для романа» во мне больше оживает исследователь. Но есть рассказы, которые по десять лет в папке лежат, по-своему требуют фундаментальной разработки. Правда, уж коли пошел в рост рассказ, то это травинка или елочка, самообрастающие листочками и ветками. Роман — это лес, с разными породами трав и деревьев, с лишайниками и мхом, лес, заполоненный

птичьим населением и зверьем, со своим ветром, со своими запахами и звуками. Разумеется, деление это во многом схематичное, приблизительное, потому что рассказ часто — тоже, можно сказать, маленький роман.

— *А как протекает процесс самого творчества?*

— В ранних своих вещах я шел ощупью. Вырабатывалась фраза, свое ощущение жизни — художественное мироощущение. Теперь, смею надеяться, я обрел что-то вроде своего стиля, собственной манеры письма. Но общее непременное условие одно: как раньше, так и сейчас я должен иметь модель. Обязательно отталкиваюсь от живого человека, хотя бы от одной детали его образа, которая может разрастись в целый характер. Я мысленно должен видеть, как вспыхнуло лицо моего героя, как набухли жилы на лбу, как покраснело ухо. Только в этом случае у меня что-то получается. Но хочу подчеркнуть: в моих сочинениях нет ни одного образа, полностью «списанного» с натуры. «Ожившего» героя стараюсь представить досконально: знаю его родословную, его вкусы в одежде и в еде, его прихоти, симпатии и антипатии, на чем он может «срезаться» и пр. и пр. Мысленно разыгрываю сцены с его участием, говорю его голосом, его речью, повторяю «про себя» его жесты. Когда пишу, я и режиссер, и актер одновременно.

— *Как это принято выражаться, герой «ведет» за собой писателя. А по-вашему, актер — режиссера?*

— Я не принадлежу к авторам, которые слепо идут за своим героем. Безусловно — и это старая истина, — автор не может по собственному произволу заставить действовать героя. Однако героя он все же толкает и ведет. Ведет в нужном для себя направлении, с тем чтобы полнее выявить свой нравственно-эстетический идеал. По-моему, теория примитивного «отображательства» нуждается сегодня в существенных коррективах. Искусство и жизнь не одно и то же. Как противоестественно и ненужно изобретение некой фантастической «земли», оторванной от реальной, так же по-своему мертвенно изображение жизни «как таковой».

Когда говорят у нас о писателе, обычно делают упор на традицию — и это хорошо, но соль-то в том, что́ художник внес своего, нового, неповторимого, своеобразного в искусство, чем он отличается от всех остальных на свете. Настоящий писатель всегда новатор, образно выражаясь — «еретик», который восстает против суще-

ствующих на сей день в литературе привычных, но уже окостеневших норм и канонов. Он всегда в споре, в битве с ними. Да и вообще всякий подлинный талант — это благодетельная, животворная сила, которой живет человечество. Талант, может быть, самый главный капитал любой нации.

— Вы имеете в виду, конечно, не «формалистическую ересь» в художестве?

— Не бывает, по-моему, так называемой «чистой художественности», «чистой формы», а если и бывает, то что она может дать сердцу читателя? Чем она зажжет его сердце, если душа писавшего холодна, если отрешена от болей и радостей, которыми живет человечество, люди, его ближние? Трудно уважать писателя, который в совершенстве постиг тайны словесной техники, но этим и ограничил свои замыслы. С другой стороны, нередко толкуют: у такого-то, дескать, есть мысль, но мастерства не хватает. Так быть не может! «Мастерства не хватает» — это значит своей идеи нет, своей собственной, выношенной, выстраданной, а есть что-то заемное, расхожее. Идея, если только она действительно идея, найдет себе форму, выразится, выскажется, прорвется, — разумеется, при условии, что пишущий — не случайный человек в литературе.

— Есть у вас читательские пристрастия?

— Они менялись и меняются, но остаются, несомненно, и прочные привязанности. Когда-то в юности я увлекался Джеком Лондоном, особенно «Мартином Иденом». Была полоса интереса к «натуральной школе» Золя. Позже пришел к Стендалю, и моим евангелием надолго стало «Красное и черное». Все созвучно мне было в этой книге: активный, наделенный великой волей герой; тончайший, точный психологизм; напряженный драматизм мысли автора. Мне кажется, Бальзак на сегодня с его многословными предуведомлениями и описаниями несколько устарел. Он однообразен, а Стендаль при внешнем повторении тем по существу и богаче, и современнее. Он не был признан при жизни. А кто из великих французов прошлого столетия ближе нам, чем он?

— Вы не связываете истинную писательскую славу с популярностью?

— Не всегда. Популярность — явление нередко временное, недолговечное. Она часто зависит от моды, от групповых пристрастий, от саморекламы и расторопно-

сти пишущего, от заигрывания с читателем, требующим ответа на острые вопросы времени. В этом смысле «популярные» нередко наносят немалый ущерб и читателю, и литературному делу. Неопытную молодежь может увлечь такой лицедействующий фразер, но как только та же самая молодежь войдет в контакт с реальной действительностью, она вынуждена будет многое переоценить заново.

Человечество идет к все большей сложности, но есть для него вечно живые нравственные проблемы. И только та литература сохраняет свою свежесть и актуальность на все времена, которая питается размышлением о великих вопросах и ответах. Поколение за поколением подступает к разгадке тайн человеческого бытия, выдвигает своего гения, способного предложить новое их толкование. И от того, насколько философски глубоко будут поставлены эти проблемы, настолько дано жизни наперед литературному произведению. Разряд и масштаб этой художественной мысли: Шекспир, Данте, Боккаччо, Сервантес, Свифт, Гете. Но попробуй кто-нибудь из таких вот титанов объявить свое понимание мира и человека «окончательным» — и вся человеческая культура умерла бы немедленно, прекратила свое существование. Парадокс неистощимой жизненности культуры — в ее вечном поиске. И в этом отношении бесконечно богата и неповторима наша русская литература прошлого столетия.

— *Вы кого-нибудь выделяете из русских классиков?*

— Пожалуй, нет. Как невозможно «всему» национальному характеру выразиться в одном человеческом лице, так немыслимо все содержание русской литературы прошлого представить одним, даже самым великим именем. Мой бог — Пушкин. Мой Пушкин — это опекушинский Пушкин, который пророчески, с великим и горьким раздумьем смотрит в очи России. В нем все начала и, кажется, все концы. Однако... Известно определение пушкинской прозы как «голой». Может, оно предвзято, узко, недостаточно глубоко? Но вот приходит великий Гоголь и всем своим творчеством подчеркивает: психологизм прозы его гениального предшественника не столь универсален, чтобы передать многосодержательные начала русской натуры. И задумываешься, вглядываясь в историю русской литературы: почему в самом деле не дала пушкинская проза крупных отпочкований? Слово Гоголя — как бы новый ключ к духовным тай-

нам национального характера. Но стоит назвать нам имя Льва Толстого, как фигура и Гоголя чуть-чуть стушевывается. Вечный, всеобщий Толстой? Но в нем явно «не хватает» того, что есть в Достоевском, а Достоевский не богат тем, чем располагает Лесков, — виртуозным словом, игрой словесной. В свою очередь у Лескова нет того, что является полной собственностью Бунина: язычески щедрой, густой фразы, насыщенной особой энергией чувства и мысли. Русские писатели прошлого незаменимы, каждый — на свое лицо, каждый — огромный мир, но этот мир существует по-настоящему в длинном ряду других миров. Одно объединяет всех их: бесстрашная, небывалая дотоле исповедальность, нравственный максимализм, необычайные взлеты духа и мысли. И именно этим прежде всего русская литература «золотого века» удивила и покорила весь мир. И именно этому в меру своих сил должны учиться мы, советские писатели.

— Коснемся сегодняшней литературы, Федор Александрович. Чей творческий опыт из современных писателей вам наиболее близок?

— Пожалуй, Александра Твардовского. Я не буду здесь распространяться о его творчестве, замечу лишь, что для меня — это первый советский поэт. Это наша национальная гордость. Человек высочайшего нравственного и гражданского облика. Писатель единственный в своем роде, который так бесподобно, так органично соединял в себе крестьянина, сына земли, и интеллигента в высшем значении этого слова. Да, да, если кто-нибудь из современников и оказал на меня влияние, так это он, Твардовский, прежде всего Твардовский. Мне посчастливилось лично знать Александра Трифоновича, я печатался в журнале, который он редактировал, и я мечтаю написать об этом богатыре нашей литературы. Но задача это неимоверно трудная. Ибо понять по-настоящему Твардовского-поэта, Твардовского — человека и гражданина — значит понять во всей сложности и драматизме нашу эпоху, наше время.

Не могу не сказать об Александре Яшине. Он был моим другом, и я всегда с безмерной грустью думаю о нем. Смерть сразила его на взлете, в то время, когда он только по-настоящему расправил свои могучие крылья. У него есть стихотворение «Орел», где великолепно нарисован образ гордой птицы, которую подстреливают из-за скалы, но умирать она поднимается в

свои высоты. Этот орел — сам Яшин. Ну, а что касается живущих... Нет, о живущих в другой раз.

— *Скажите несколько слов о «техническом режиме» вашей работы.*

— Писателей обычно делят на «дневников» и «ночников». Так вот, я принадлежу к первым и люблю браться за перо с утра. Пишу последовательно, страница за страницей, доводя каждую до «кондиции», хотя потом снова могу править и править. Если возникает пауза между одним и последующим поступком моего героя, то ее обязательно надо заполнить, прежде чем двигаться дальше. Очень трудно дается мне начало вещи. Надо найти фразу, которая создавала бы свою интонацию, свою музыку — вводила бы читателя в мой мир. Да и в отдельных новых главах начало складывается нелегко, и тут надо находить свою особую ритмику, чтобы не увязнуть в болоте монотонности. После четырех-пяти часов, если работаю регулярно, обычно с бумагой расстаюсь: угасает свежесть чувства, теряется острота эмоционального отношения к герою, умения увидеть его жест и разыграть его. Вторую половину дня предпочитаю отдавать чтению, иногда театру, встречам и общению с людьми. Одним словом, пополняю колодец.

— *Хороший образ.*

— Реальный. Душа исчерпывается точно так же, как вода в колодце. Перед глазами у меня стоит давняя картина, как мы, деревенские ребятишки, зимой, в великий пост, с ужасом убеждаемся, что достать воды нельзя, что вода в колодце вычерпана. Пополнять колодец — первейшее дело для писателя. По всем водоносным жилам должен он черпать жизнь. А уж за письменным столом — отдача.

— *От «режима дня» и «письменного стола» вы незаметно перешли к вопросам более существенным. А если так, прошу вас продолжить разговор: рассказать о своем творческом кредо — применительно к поэтике, стилю, стилевым принципам.*

— Трудная задача. Ведь когда пишешь, не думаешь, каким воспользоваться приемом, какой употребить оборот.

— *Но позже... Вы как-то самооцениваете свою творческую индивидуальность? Как-то отделяете «самого себя» в литературном потоке? Читатели ваших произведений это делали и делают, но интересно мнение автора.*

— На что я ориентируюсь в своей работе как пи-

сатель? Прежде всего на звучащую устную современную речь. Я стремлюсь воспроизвести не только индивидуальную речь героя, но и в авторском слове дать ту речевую стихию, на которой говорит время. Мне очень близко такое построение текста, когда авторская речь глубоко сливается с речью героя. В моих сочинениях непрямая речь персонажей и по лексике, и по синтаксису, и, конечно, эмоционально воссоединяется с авторской. Я не сторонник лобовых авторских решений, прямого вмешательства в судьбу героя. Писательская позиция может быть выражена многогранно и многозначно, в разных формах и разными способами. Хорошо, если много умеют сказать о себе сами герои. Я стремлюсь, вернее, у меня так получается, что каждая глава крупного произведения, как правило, пишется от имени одного героя, «представляя» его больше, чем кого бы то ни было.

Очень важно для меня точное, доскональное воспроизведение примет эпохи. Я уже говорил, что очень ценю в литературе реалии быта — как и чем жили люди, сколько зарабатывали, как одевались. Потому непосредственному процессу работы за столом предшествует трудоемкая подготовка. Обращение к газетам, журналам эпохи, архивам, «живой истории» — это обязательно. Я должен представить «условия времени» во всей увесистости, конкретности, — только тогда по-настоящему ладится работа. Только тогда «полученный материал» возможно менять, то есть приводить в соответствие со своим замыслом.

— *Ваша проза ориентирована на крестьянскую речь современного Севера?*

— Ориентирована? Нет, не то слово. Я уже сказал, что в своей языковой практике я ориентируюсь на устную разговорную речь нашего времени. А это значит — и на речь современного города. Но, конечно, к родному говору северян у меня особое отношение. В речи пожилых северян я вижу общенародные языковые начала. Заповедный русский язык хранит Север, моя Пинега в частности. Русь уходила от татар, спасая свое живое слово, и спасла его. Возьмите наше слово «зарод», равнозначное общерусскому «стог». Со сколькими словами оно связано! «Природа», «зародыш», «родник» (в двух значениях), «народ», «сродник»... Воистину выплеснулось оно из родникового языка. Речевые богатства Севера неплохо, хотя и далеко еще не полно, использова-

лись писателями. Мне близко творчество Б. Шергина — слово у него звучит красиво, по-северному певуче. Я восхищаюсь сказочником С. Писаховым, удивительной цветистостью слова у А. Чапыгина.

— *Какие процессы, по вашему мнению, происходят в современной народной речи?*

— Сложные идут процессы. Сегодняшняя русская речь в ее деревенском варианте синтезирует многие элементы. Она объединяет в себе и коренное старинное слово, и диалектные речения и фразеологизмы, и жаргонные обороты, и наиболее популярную научно-производственную терминологию, и речь современной литературы, газет, радио, телевидения. Язык трансформируется, движется, меняется. И примечательно, что на внутренних языковых «стыках» — в пунктах стилистических разноречий — часто открывается возможность для юмора, для шутки, для словесной игры, к которым так охоч деревенский житель. Многие формы устного народного творчества отработали свое (былина, сказка). Но необыкновенно живучей оказалась частушка и собственно «острословие». Язык современной деревни — яркий, сочный, забористый и задиристый. Когда я приезжаю в деревню, я буквально омываюсь в живых родниках речи. Колодец пополняется живой водой.

— *Ученые говорят: речь идееносна...*

— Суховато, но справедливо. Слушая родную мне северную «гово́рю», я чувствую себя счастливым. Через слово возвращается ко мне мое детство, моя жизнь, открывается та среда, откуда вышел я и все мои герои. Здесь брошено зерно, из которого выросла главная идея моих сочинений...

Я стою за народное начало в литературе, за духовные идеалы, связанные с утверждением нации. Но я решительный противник молитвенного отношения ко всему, что бы ни сказал и ни произнес именуемый некоторыми литераторами «простой человек из народа». Любить народ — значит видеть с полной ясностью и достоинства его и недостатки, и великое его и малое, и взлеты его и падения. Писать для народа — значит помочь ему понять свои силы и слабости. Важная задача искусства — просвещение. Высшая цель его — правда и человечность, так сказать, увеличение добра на земле. И красоты.

1974

О СКАЗКЕ

Книга — и это непреложный факт — прочно вошла в быт наших людей. Не буду говорить о городе. Но загляните хотя бы в сегодняшнюю северную деревню. В редком доме вам не попадется полка с книгами, а то и библиотека. Русская и переводная классика, «роман-газета», научная фантастика, детектив, стихи... — все встретите там. И только одного, пожалуй, не найдете — сборника русских народных сказок.

Что же, интерес к сказке пропал на Руси? Нет спроса на нее?

Спрос огромный. Сказки в продаже нет.

Вина тут, в первую очередь, ложится на наши издательства — редко, очень редко русская сказка промелькнет в издательских проспектах и планах. Но, думается, немалую ответственность за отсутствие сказки на книжных прилавках несут и наши журналы, наши литературоведы и критики: ведь и они не больно балуют своим вниманием сказку. Больше того, встречаются подчас люди, которые под все это подводят даже некий «теоретический» базис. Дескать, время сказки прошло безвозвратно. Дескать, смешно и нелепо в век космических ракет и спутников слушать и читать замшелые россказни о коврах-самолетах, о скатертях-самобранках и т. д., и т. п. Научная фантастика — вот сказка наших дней.

Против научной фантастики, разумеется, возражать не приходится. Научная фантастика законно заняла свое место в круге чтения современного человека. Но заменяет ли эта молодая, энергичная особа хоть в какой-либо мере древнюю старуху-сказку?

Нет, конечно.

Да, в сказке мало достоверных сведений по части самолетостроения, технической оснастки нашего народа. Да, в сказке душа и сердце народа, его ум и вековечная мудрость, все причуды, все грани национального характера. И сказка — это слово. Слово всегда живое, самобытное, поражающее предельной простотой и вместе с тем неповторимой игривостью и выдумкой.

В последние годы у нас много говорят о бережном отношении к природной среде. И это хорошо. Но разве забота о духовных сокровищах нации, их разумное использование — менее важное дело?

Сказка должна войти в каждый дом — вот насущная

задача. И будем надеяться, что настоящий сборник, выпускаемый Северо-Западным издательством, — это лишь малая доля в серии тех изданий, которых ждет массовый читатель.

Характерная особенность этого сборника заключается в том, что сказки, представленные в нем, записаны в наши дни, что называется, на корню. А записала их и собрала воедино Галина Яковлевна Симина, доцент Калининградского университета, которая вот уже полтора десятка лет — в одиночку, со студентами-практикантами — неутомимо и плодотворно изучает пинежский говор, его лексику и синтаксис, с удивительной полнотой сохранивший речевую культуру древней поры русского языка.

На Пинежье Галина Яковлевна давно стала своим человеком. И мне хочется от своего имени, от имени моих земляков сказать ей большое русское спасибо. Спасибо за ее труды, за ту радость, которую она несет людям.

1975

ПИСАТЕЛЬСТВО — ЭТО ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР О ЖИЗНИ

Беседа с корреспондентом журнала «Молодой коммунист»

— Федор Александрович, я хотел бы задать вам ряд вопросов, связанных со становлением писательской личности, с ориентацией начинающего писателя в современном мире, — вопросов, которые, несомненно, будут интересны самому широкому читателю нашего журнала. Прежде всего, у кого вы учились как писатель?

— Персональных учителей, к которым бы я ходил и показывал свои вещи, у меня не было. Начал я писать уже в довольно зрелом возрасте, причем сразу с романа. Я был тогда аспирантом-филологом, и мне казалось, что браться за иную форму — скажем, за рассказ или за повесть — это просто несолидно для моего возраста. Короче, я взялся сразу за роман, столкнулся с немалыми трудностями и писал его в великой тайне. Сейчас нередко принято, как только товарищ написал очерк или рассказ, идти и оповещать всех о том, что он создатель. Я вышел из другой среды. Я вышел из семьи,

где всякое афиширование своей работы, своих доблестей осуждалось всей системой домашнего воспитания.

У кого я учился? Писательству учиться нельзя. Писателем рождаются. Но в определенном смысле я учился у всех больших писателей. Мне все русские классики нужны. Из советских писателей мне ближе всех Шолохов. Я считаю, например, что его «Тихий Дон» — это самое крупное явление в русской советской литературе, да, может быть, не только русской, а мировой литературе XX века. Затем в моей писательской судьбе исключительную роль сыграл Александр Трифонович Твардовский. Случилось так, что почти все основные мои вещи попадали в поле его внимания. Он не только поддерживал меня и воодушевлял, но вообще был для меня примером взыскательного, бескомпромиссного писателя, примером гражданина, который дела литературы, дела страны, дела народные ставил превыше всего на свете. И, конечно, его нравственное, его гражданское влияние — для меня напутствие на всю жизнь.

— Сейчас много говорят о молодом писателе. Но с чем связана писательская молодость — с возрастом, с восприятием жизни? Что в понятие «молодой писатель» вкладываете вы?

— Молодой писатель... Какое мне, читателю, дело до возраста писателя? Может быть, я нахожусь во власти каких-то предрассудков, но к книге у меня одно требование: что она мне дает? Конечно, такая проблема существует — писатель как выразитель своего поколения. И, конечно же, часто бывает, что именно молодой человек с наибольшим накалом выражает дух молодого поколения, например, его созидательную увлеченность, романтическую «лихорадку», неуемность — специфические особенности, свойственные молодому возрасту и именно человеку этого времени. Тут действительно можно говорить о молодом писателе, и это понятие важно. Но, с точки зрения какого-то большого разговора о жизни, мне кажется, возраст — понятие относительное. В литературе ведь часто бывает так: одни созревают рано и, так сказать, высказываются рано, а потом обречены, мягко говоря, на длительную творческую паузу или просто на бесплодие. А бывает так: человек постепенно, от книги к книге, набирает силу незаметно для читателя — и вдруг происходит какой-то качественный взрыв, иногда в пожилом возрасте. В этом смысле литература — явление очень пестрое, сложное, она не от-

вечает требованиям однозначного порядка. В этом суть искусства. Искусство — это всегда взрыв, искусство — это всегда удивление. Это всегда что-то новое, большое. Настоящее искусство всегда неожиданно и по форме, и по содержанию. И поэтому никакой заранее запланированной проблемы молодых в большом искусстве не существует. В искусстве все сводится к проблеме таланта.

— Но таланту нужна помощь. Что бы вы пожелали его помощникам?

— Прежде всего — не суетиться. Талант сам по себе сила. По-моему, писателя странно учить писать. Писатель созревает сам. Массовое, серийное «производство» писателей? Я не большой поклонник этого. Возня, мелочная опека — не расслабляет ли это дух, не толкает ли на потребительские настроения? И мне кажется, стоило бы говорить не столько о воспитании писателя, сколько о его самовоспитании.

Сейчас сплошь и рядом получается так. Молодой человек приписался к литобъединению, он еще ничего не написал, но он уже начинает «качать права»: я, мол, по департаменту литературы, я в литобъединении, помогайте мне, давайте мне всё. Я с этим решительно не согласен. Потому что человек, который идет в литературу, это человек, который должен раз и навсегда знать — он идет на сложное, может быть, на самое трудное дело, которое может предстоять молодому человеку. И даже человеку вообще. Потому что литература — это всегда борьба, это разговор о жизни, о Родине, о народе, о времени по очень большому счету. Я уже не говорю о том, что здесь нужна большая культура, ум. Но нужна еще смелость, мужество, воля.

Я понимаю, профессия писателя, как и, скажем, актера, художника, считается модной, такой красивой, изящной. Но это заблуждение. На самом деле работа писателя — это работа, относящаяся к вредным. Иногда это полное безденежье. Иногда это нравственные муки, полная неудовлетворенность. Потому что получается редко. Выпадает тебе минута в неделю, когда страницу хорошую напишешь и счастлив, а то и рвешь бумагу, волосы на себе рвешь. И мой совет: если можешь быть не писателем, не будь им.

— Писатель должен знать жизнь, и в поисках этих знаний он часто отправляется в дальнюю дорогу — куда-нибудь в море рыбаком, геологом в тайгу, старате-

лем на прииск, презрев ради романтики странствия свою «будничную» работу на заводе, в научной лаборатории, в газете. Всегда ли это благо?

— Мне кажется, такого вопроса не существует. Ну кто может усомниться в пользе странствий? Еще мудрецы Востока подсчитали, сколько человек должен учиться, путешествовать и размышлять.

Ездить надо. Это расширяет кругозор. Но, мне кажется, это надо вообще человеку, а не только писателю. А ездить для того, чтобы стать писателем — ага, я поеду в Африку, это писателю надо, это модно, туда многие ездят, — это, по-моему, все лишнее. Есть и такая форма путешествий — писательская командировка. Не скажу, что я решительно против них. Они что-то дают, в пропагандистском плане они даже очень полезны. Читатели хотят видеть тех, кого они читают. Но эти поездки у нас начинают приобретать характер моды. Поэтому по большому счету литературного дела все это не обязательно.

Я, пожалуй, поторопился сказать, что вопроса о путешествиях и хождениях «в люди» не существует. Он стоит перед всеми молодыми. Тем более что наша печать иногда сбивает их с толку. Слишком много соблазнов у современной молодежи. А писатель — это сидение за работой, это раздумье. Одно время было поветрие — разъезжать по снегам Крайнего Севера, плавать на судах. Мол, там передний край жизни, истинное проявление века. Вот с этим ложноромантическим взглядом на жизнь я решительно не согласен.

Писатель может писать только о том, что он хорошо знает. И если человек работает в газете, в лаборатории, на заводе — разве это менее интересное и важное дело, чем, скажем, китобойная флотилия? А у нас часто получается так, что молодой писатель, сбитый с толку неверными советами, как раз убегает от жизни, которую он хорошо знает, и где-то уж потом, годам так к 40—50, начинает понимать истинное значение той обыденной жизни, из которой он вышел. Я за то, чтобы писатель писал о том, что ему биографически близко, о том, где его истоки и юность. Опыт показывает, что современные сравнительно молодые писатели так и работают. Ну, возьмите Василия Белова — нашего превосходного писателя. На каком материале он работает? В основном на материале Вологодской области, которую он очень хорошо знает. Именно в вологодских поэ-

тических одеждах увидел он Русь со всеми сложностями, трудностями, радостями и заботами вчерашнего и сегодняшнего дня.

— Мы с вами все говорим о жизненной почве, на которой произрастает талант. Теперь, если не возражаете, о культурной подготовке писателя.

— К сожалению, у нас распространена и даже среди уже зрелых писателей теория так называемого «нутра», «нутряного» таланта. Она идет, по-моему, еще от 20-х годов. Тогда в нашу литературу пришло поколение людей от сохи, от станка, и кое-кто из них просто оправдывал свою некультурность, незнание, леность тем, что у него громадный запас жизненных впечатлений. Сегодня некоторые писатели рассуждают примерно так: «Ты, голубчик, слишком много читаешь. Это может повредить твоей самобытности». Какой бред! Знание жизни очень важно. Но мы знаем многих людей, которые не стали видными писателями потому, что у них не было культуры. Писатель — это знание жизни плюс культура. Писатель должен учиться всю жизнь. Это вечный студент.

Я был только что на «Позитроне» — есть у нас в Ленинграде такое научно-производственное объединение, изготовляющее электрооборудование по последнему слову техники. Мы встречались с генеральным директором, с заведующим научным отделом, инженерами. Удивительно грамотный народ! Все их рассуждения о мире электроники мне недоступны. Но о чем я думал? С каким же словом надо идти к этим людям! Какая же у нас должна быть глубокая, сложная система восприятия мира, социальной жизни, человеческой природы, чтобы она заинтересовала этих людей и была для них поучительной! Короче говоря, мало идущего от «нутра». Талант должен быть оплодотворен всей человеческой мыслью. И только тогда мы можем выходить на широкую публику и разговаривать серьезно с нашим современником.

Кстати, о поездке на «Позитрон». У нас в Ленинграде есть городской семинар творческих работников — хороший семинар обком партии сделал. Возят на разные предприятия, знакомят с достижениями сельского хозяйства, с людьми интересными встречаемся — все это очень помогает. Вот это творческое решение вопроса о помощи писателю.

— Вы говорите, писатель должен читать книги. По-

чему должен? Может быть, желание учиться есть составная часть таланта?

— Согласен с вами. Эта мысль живет и во мне. Действительно, в понятие таланта входит жажда знания. Вечная моя боль и печаль: я не успеваю читать. Выходит масса интересных книг. Вы посмотрите, как завален книгами мой стол, — это все, что не читано. Когда добираешься до глубокой книжки, испытываешь радость. Ну, например, я недавно прочитал статью Николая Федоренко «Кавабата: взгляд в прекрасное», которая в 1974 году была напечатана в «Иностранной литературе». Откровенно говоря, я никогда не думал, что у нас есть такой человек, который так широко, глубоко и интересно понимает Восток.

— *Судьба писателя, особенно молодого, во многом зависит от квалифицированной оценки его творчества критиком. Что вы можете сказать о современной критике?*

— Некоторые удовлетворены современным состоянием нашей критики. Правильно, много написано критических книг. Я бы мог назвать хороших критиков...

— *Назовите, пожалуйста.*

— Игорь Золотусский, Феликс Кузнецов, Борис Панкин, Александр Михайлов, который пишет о поэзии с большим пониманием и знанием... С другой стороны, прочитать сегодня серьезную критическую статью, написанную с авторским накалом, с гневом, с сарказмом, с юмором — это, по-моему, большая редкость, — такую статью, пожалуй, днем с огнем не найдешь. В то же время иногда такое пишут, что не отличишь, кто настоящий писатель, кто нет, потому что обо всех говорят в превосходной степени. И понятие «талант» от этого становится расхожим. Меня все это не воодушевляет. Критик должен оставаться критиком.

Был у нас когда-то проработочный стиль в литературной критике, а сегодня мы качнулись в совершенно другую сторону. Сегодня мы «заглаживаем» писателя, сегодня у нас чуть ли не ЧП, чуть ли не возмущаются на любом собрании, что кого-то там покритиковали. А между тем литературная жизнь невозможна без серьезной критики и без серьезного разговора о литературе. Ведь мы не поздравительные письма друг другу пишем, мы пишем о серьезных жизненных вопросах.

Я за то, чтобы в нашей литературной жизни была и критика, и было поощрение, и внимание к писателю,

в том числе и к молодому. Потому что напечататься молодому оригинальному писателю часто очень трудно. Вот где должна быть помощь. Помочь молодым — это прежде всего помочь талантливым ребятам, оригинально мыслящим и оригинально пишущим, напечататься. Потому что в журналах свежее, новое часто вызывает — не потому, что люди принципиально не хотят печатать молодых, а в силу инерции, часто свойственной вообще человеческой природе, — недоверчивый прием. Я со своим первым романом — мне было 38 лет, когда я его напечатал, — обошел все редакции без мала.

Критик обязан мыслить широко и уважать талант в разных, даже очень неожиданных проявлениях.

— *Но в первую очередь писателю важна оценка читателя особенно тогда, наверное, когда выходит первая книга... Вам много пишут читатели, Федор Александрович?*

— Не скажу, что я получаю тысячи писем на каждую вещь, но получаю довольно много, и пишут, как правило, довольно грамотные люди.

— *Интересно, вы разделяете мнение, что у каждого писателя есть свой читатель?*

— Нет. Я, например, пишу без адреса. Хорошо написанную книжку, если даже это детская считалка, с удовольствием будут читать и дети, и академики. Истинно большая, талантливая книга имеет широкого читателя. Она одновременно дает пищу для ума и самому неподготовленному читателю, и читателю самого высокого интеллектуального уровня.

— *В последнее время проблема «писатель — читатель» вызывает все более пристальное внимание социологии. Ученые своими методами пытаются проверить ценность художественного произведения. Как вы относитесь к союзу искусства и науки? Какую реакцию вызвала у вас статья социолога Виктора Переведенцева в журнале «Литературное обозрение» в № 9 за 1975 год о вашей повести «Алька»? Вы о проблемах миграции из деревни в город писали повесть, как это, по-моему, представляется Переведенцеву?*

— Статью Виктора Переведенцева в «Литературном обозрении» я прочитал не без интереса. Вообще я считаю, что к литературному произведению может быть разный подход: чисто эстетический, лингвистический, социологический, этнографический, демографический или какой-то иной. Одного нельзя делать: нельзя абсолюти-

зировать тот или иной подход и выдавать его за единственный. К сожалению, в работах Переведенцева не всегда учитывается сложная природа художественного произведения.

Он прав, конечно: создавая «Альку», я думал и о тех, кто покидает деревню. Но Алька для меня прежде всего характер, живой человек, дочь Пелагеи Амосовой — этой великой труженицы, поэта работы и вместе с тем аскета.

Поведение Альки — это реакция на тот аскетизм жизни, которая выпала на долю старших поколений. Молодежь должна знать, что сегодняшний мир благополучия и относительного изобилия создавался за счет ущемления личных потребностей нескольких поколений. Мы прожили тяжелую жизнь. Конечно, и в ней были свои радости. Радости взлета духа, которые часто не снились сегодняшней молодежи. В Альке, с другой стороны, проявляются потребительские тенденции современной молодежи. Вот психология иных нынешних родителей, психология чисто мещанская: мы жили плохо, недоедали, недосыпали, мы ходили в обносках, так уж наши дети пусть походят... Десять лет ей, соплюхе, так ей на руку дарят часы, да чуть ли не золотые. Одевают как куклу, любуются. Это все идет от бескультурья. Это кончается слишком тяжело и часто драматично для этих осчастливленных родителями детей. Они оказываются потребителями, не способными к работе, к преодолению трудностей. В Альке все отмеченные мной тенденции и другие переплелись, слились воедино в индивидуальном, неповторимом, как мне кажется, характере.

Мы живем в век великого передвижения. Все сидели на своей земле — мои родители никуда не уезжали. А тут вся Россия пришла в движение. Вся Россия стала летать из конца в конец. Кто же сядет пассажиром в эти самолеты? Конечно же, молодежь садится прежде всего. Алька втянута в общий, в новый поток жизни, совершенно неизвестный для ее матери. Но вместе с тем в Альке живут какие-то представления о рабочей совести. Она не может, чтоб ее позорили. Она не может допустить, чтоб она не была первая в работе. Все к чертям — рубашки, тряпки, за которыми она стояла в очереди целые месяцы. Первой быть! Она дочь Пелагеи Амосовой!..

Вот какой комплекс явлений я хотел показать, вот

что меня волновало, вот о каких вещах я думал. Вот какие массовые явления отразились в Альке, представляющей часть нашей молодежи. Часть — потому что, я знаю, есть и другие ребята, по культуре, по широким запросам стоящие гораздо выше.

— Вы, Федор Александрович, начинали с жанра романа. Начинающему писателю тоже очень важно найти свой жанр. Ему бы, конечно, хотелось и жизнь показать масштабно, «панорамно», как это делают некоторые старшие мастера, и в то же время проникнуть в суть человека и явлений. Что тут можно посоветовать?

— Я думаю, каждый писатель должен работать в том жанре, в той форме, где у него больше отдача и где он себя чувствует свободнее. Все хорошо сделанное — хорошо. Тут все зависит от цели, которую ставит писатель. Он может ставить задачей изобразить огромное движение масс. Но это пока удавалось только Толстому, Шолохову. Да и вообще увлечение «панорамами» для искусства не обязательно. Найдется художник, который способен отразить целую историческую эпоху, — на здоровье! А если ему ближе малые формы? Ведь и в малом можно увидеть большое.

Мне вспоминаются художники. Ян Вермеер, скажем. Он писал небольшие полотна. Но ведь это же чудо из чудес. И что там особенного изображено-то? Скажем, «Девушка с письмом». Склоненная головка, в руках листок, решетчатое окно средневекового образца, бьет свет, рядом стоит стул, обитый кожей, — и все. Но ведь это же потрясение! Эта девушка, написанная триста лет назад, современнее наших современниц в комбинезонах, с молотками и т. д. Потому что там конкретный человек XVII века взят не только в конкретном сиюминутном измерении, но он еще взят в общечеловеческом измерении. Вот к чему мы должны стремиться. Не к «панорамам», а к постижению человека, его внутренней природы, его духа, душевного бытия, в которых отражается не только его личная жизнь, но и человек вообще во всей его красоте, сложности, трагизме. Да, да, трагизме человеческого бытия, потому что все в жизни кончается.

Что же посоветовать молодым? Вероятно, написать такого человека, который нес бы в себе нечто большое, значительное, поучительное, чтобы это была и личность, и в то же время что-то выходящее за рамки единичной личности. Чтобы это несло в себе духовные особенности

нации, чтобы это был действительно исторический тип, вместе с тем национальный тип. Как это сделать — рецепта дать нельзя. Здесь надо изучать жизнь, читать и думать, думать, думать.

— *Вас считают писателем-«правдистом». А сами вы что на этот счет думаете?*

— Не могу похвастаться, что я сказал всю правду о том времени, о котором я писал. Не сказал я по разным причинам. Кстати, одним из упреков Николая Андриановича Комарова, человека, который во многом послужил прототипом моего Подрезова, секретаря райкома, как раз был упрек, касающийся правды. Он сказал: «Все хорошо. Только мы-то жили, и я работал в более суровых и трудных условиях. Вот надо бы об этом сказать более честно и правдиво». Да, о послевоенном времени в «Двух зимах...» и в «Путях-перепутьях», к сожалению, мне всю нужную правду сказать не удалось. И я об этом жалею. И об этом может пожалеть и взыскательный, требовательный читатель. Потому что это вопрос не пропагандистского или теоретического характера. Это вопрос о мере подвига народного. Всякий приблизительный, смягченный, подкрашенный разговор о жизни — он безнравственный. Он не выдерживает прежде всего нравственного суда. Он вводит в заблуждение читателя. И он умаляет свой народ. Потому что когда речь идет о правде нашей послевоенной действительности, то речь идет в первую очередь о том, что наш народ, несмотря на неимоверные страдания и беды, с честью вышел из этих испытаний. Всякое умаление правды — самая большая вина писателя. Правда — это самое элементарное условие искусства. Вне правды о каком-то искусстве вообще нельзя говорить. Другое дело, что искусство не ограничивается только фиксацией правды. Правда жизни и правда искусства — это не идентичные понятия. Правда жизни в искусстве еще переплавлена в тигле авторского мышления, в тигле нравственного огня писателя, его миропонимания. И правда в искусстве всегда выражается через автора. Она в этом смысле субъективна.

Вопрос о правде не дискуссионный. Правда всегда нравственна. Правда в конечном счете всегда возвышает и поднимает человека. И если что и способно сделать человека Человеком, так это прежде всего правдивое искусство. Я в этом глубоко убежден. И только на почве правды может вырасти такое искусство, которое

способно сделать человека по-настоящему богатым духовно, возвышенным, волевым, красивым. Правда в конечном счете только вооружает человека. Отпугивает она только недорослей.

1976

МЫ И СЕГОДНЯ ЖИВЫ ИМИ

Каждый из нас, идя на сегодняшнюю встречу, конечно же, оглядывался назад, вспоминал тот день, когда мы впервые встретились на первой лекции в актовом зале филологического факультета.

Нас тогда было много. Мы тогда были молодым и шумным, многообещающим лесом. А сегодня? Сколько осталось нас сегодня?

Война железным ураганом прошлась по нашему поколению. Многие и многие наши товарищи и сверстники, наши святые ребята и девушки остались лежать на подступах к Ленинграду. Они погибли, чтобы своей грудью, своими телами прикрыть город на Неве.

Здесь уже говорилось, как много незаурядных работников науки и культуры дал наш курс. Но ведь лучшие из нас — и мы это хорошо знаем — остались там, на полях сражений. Леонид Сокольский, Анатолий Новожилов, Семен Рогинский, Александр Матвеев, Иван Маркин, Николай Лямкин, Андрей Штейнер, Олег Долгополов...

У нас давно подсчитано, давно подытожено, какие материальные потери мы понесли на войне, сколько было сожжено и уничтожено сел и городов, сколько вывезено хлеба и скота в фашистскую Германию.

Ну, а сколько мы потеряли в войну людей? Называют цифру в 20 миллионов человек, называют цифру в 20 с лишним миллионов. А точнее? А точнее мы не знаем. И, к великому стыду нашему, мы тоже не уверены, всех ли мы назвали сегодня поименно из тех, кто погиб с нашего курса.

Перед тем как собраться в этом зале, мы все побывали в комнате Славы, небольшой аудитории, где воочию встретились со своей юностью, со своими дорогими и вечно молодыми ребятами и девушками, глядящими на нас то с уцелевших фотографий, то с поминальных траурных списков.

Но выполнили ли мы свой долг перед героями? Достойно ли увековечили их память?

Нынешним летом ездил я по Алтаю — в каждом райцентре, в каждом селе на века воздвигнуты мемориалы с обозначением всех имен погибших земляков. А в Барнауле, столице Алтайского края, — вот где чтят память павших! Тысячи, десятки тысяч имен барнаульцев, не вернувшихся с войны, отчеканены в металле — и еще оставлено место для тех, чья судьба пока неизвестна.

Я не сомневаюсь, и на нашем, филологическом, факультете в ближайшее время будет установлен достойный мемориал в честь погибших на фронтах Великой Отечественной филологов. Всех — студентов и преподавателей. На самом видном, на самом почетном месте.

Это надо, это необходимо прежде всего нам, живущим. И тем, кто будет жить после нас. И тут уместно вспомнить мудрые слова, которые венчают врата кладбища в польском городе Закопане: «Родина — это земля и могилы», «Народы, которые теряют память, теряют жизнь. Закопане помнит это».

Но есть еще более важный, более высокий долг перед погибшими — наши дела, наша жизнь.

Каждый наш шаг, каждый наш поступок, каждый наш помысел до конца дней своих, до последнего часа мы обязаны, должны измерять мерой их великого подвига, выверять их короткой, но такой удивительно красивой и чистой жизнью.

Наши сверстники и товарищи навсегда ушли от нас, но они всегда с нами, они и сегодня помогают нам жить, быть лучше и чище. Мы и сегодня живы ими.

1976

БЕССТРАШИЕ В ИСКАНИИ ИСТИНЫ

Ответы на вопросы «Яснополянского сборника»

— *Какие произведения Толстого вами особенно любимы? Испытали ли вы творческое воздействие идей и художественного опыта Толстого? В каком из своих произведений вы видите следы этого воздействия?*

— Лев Толстой принадлежит к тем исполинам мировой литературы, вне воздействия которого немыслимо

вообще писательское творчество не только в России, но, думаю, и за пределами ее. Однако говорить на эту тему применительно к себе считаю и неудобным и нескромным.

Из огромного толстовского наследия чаще всего перечитываю «Казаков», «Войну и мир», «Севастопольские рассказы», «Детство», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи Мурата» и так называемые народные рассказы.

— *В чем вы видите современное значение наследия Льва Толстого? Какие традиции Толстого вы считаете наиболее плодотворными для развития советской литературы?*

— Творчество Толстого необычайно глубоко и масштабно, и каждый осваивает его по-своему. Мне лично Толстой-художник, Толстой-мыслитель, Толстой-человек особенно дорог бесстрашием своих исканий. Да, поиск истины, поиск веры и смысла человеческого бытия всю жизнь, до самого смертного часа; жизнь всегда, в каждую минуту по самому высокому, самому строгому счету; неукротимое желание сделать себя и других людей чище и лучше, осуществить вековую мечту человечества о всемирном братстве — вот коротко то, что делает Льва Толстого одним из величайших духовных и нравственных ориентиров всех времен и всех народов.

— *На Западе утверждают, будто с бурным развитием научно-технической революции арсенал художественных средств Толстого устарел. Каково ваше мнение об этом?*

— Запад очень легок и скор на всякие пророчества. Чего стоят, к примеру, одни только многолетние причитания по поводу гибели романа как жанра художественной литературы! А между тем роман и не думал и не думает сдавать своих позиций. Ибо он появился в литературе не случайно, а как естественный итог многовековых поисков писателями разных стран такой литературной формы, которая бы позволила наиболее полно раскрыть личную и общественную жизнь человека.

Лев Толстой по глубине и многогранности изображения человеческой личности до сих пор не имеет себе равных в мировой литературе. А раз так, то и его художественные достижения до сих пор сохраняют свое непреходящее значение, хотя, конечно, каждое время, каждая эпоха чем-то обогащают искусство, вырабатывают свой стиль.

— Как лучше и действеннее использовать гуманистические принципы Толстого в идейном и нравственном воспитании молодого поколения?

— На мой взгляд, сейчас очень важно сделать достоянием нашей молодежи толстовский принцип нравственного самоусовершенствования человека, нравственного самовоспитания.

1978

ДЕРЕВНЯ — ЭТО МАТЬ НАША

Интервью с корреспондентом еженедельника «Книжное обозрение»

Первый вопрос был традиционным: как он стал писателем? Помня горячее слово Абрамова во время телепередачи о его школьном учителе, я спросила, не собирался ли он быть учителем.

— Было, было желание стать учителем. В семье нашей учителя пользовались почетом. Брат мой стал учителем, и жена его учительница. И сестра всю жизнь работает в школе. Но влекли и другие профессии, просто разрывало, всюду хотелось успеть. Очень хотелось быть военным, особенно летчиком — форма нравилась, мечтал о романтической профессии геолога. Всего не перечислишь! Но верх взяла любовь к слову. Я с детства был неравнодушен к слову, к сказкам. Первые книги ошеломили меня...

— *Что это были за книги?*

— В моем детстве не было так называемой детской литературы. Среди первых прочитанных книг были «Жилин и Костылин» Толстого, «Мартин Иден» Джека Лондона, книги Мопассана, других иностранных авторов. С детства полюбил Гоголя. Хорошо помню, как читал роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Стояли белые ночи. Я сел за книгу вечером и в совершенном потрясении читал ее до утра. Так и не заснув в эту ночь ни на минуту, утром пошел в школу. Зачитывался «Оводом». Любимым героем был Печорин. Вообще была полоса романтического чтения. Уже студентом прочел «Красное и черное» Стендаля. Жюльен Сорель потряс меня...

— Федор Александрович! Когда был задуман, а потом и написан роман «Братья и сестры», представляли

ли вы себе, что он вырастет в эпопею, в цикл из четырех романов, охватывающий период — от военного лихолетья до наших дней?

— Сказать, что я все представлял себе в деталях, было бы преувеличением. Но с самого начала были задуманы четыре книги, об этом я писал в редакцию «Нового мира» еще тогда, когда шла переписка по поводу первой книги. Но, конечно же, это была лишь общая идея, идея-мечта. Конкретизировалась она по мере написания остальных романов, в течение двадцати лет. Это большая работа, но вообще должен заметить, в оценке моего творчества существует какой-то перекос. Половина моей жизни отдана повестям и рассказам, которые писались и в одно время с романами, и уже после них. Но критики нередко смотрят на них, как на нечто второстепенное...

— Почему деревня стала моей преобладающей темой? Я хотел бы, чтобы это понимали не в узком смысле. Деревня — мать наша, это нива, на которой заколосилась русская культура. Убежден: на примере жизни деревенской бабы, которая не выходила за околицу, можно дать не только историю всей страны, но историю человечества... А с другой стороны, можно носиться по всем горячим точкам планеты и не затронуть ни сердца, ни ума читателя. Вот в подтверждение этой мысли пример из классики. «Старосветские помещики». Жалкий, ограниченный сюжет, как едят и пьют люди, по всему бесконечно далекие от нас. Но в этом сюжете, в отношениях этих людей Гоголь открыл такие глубины человеческого существования, человеческой натуры, что мы зачитываемся этим произведением...

Писатель всегда пишет о том, что ему близко, что он хорошо знает, что было заложено в его детстве, и самое, может быть, главное — о том, что его волнует и жжет как гражданина.

Моей, всей нашей болью в послевоенные годы была деревня, вопросы хлеба насущного, а значит, и хлеба духовного, ибо эти два сорта хлеба не существуют по отдельности...

Я поинтересовалась, что Федор Александрович читает сейчас.

— Книг выходит много. Много остается не читано. Это моя беда. Хочется прочитать как можно больше. Я ценю книгу. Без книги не мыслю ни жизни, ни работы. Каждая прочитанная книга непременно дает толчок

для работы, раздумий, оставляет след в душе. Это одна из форм разговора с умным человеком. В нем непременно рождаются новые мысли, очень важные, проясняющие некоторые вопросы, над которыми мучаешься и как писатель, и как человек. Потому чтение для меня необходимо, имеет просто практическое значение. Писатель для меня собеседник, в споре ли, в согласии с которым проясняются собственные мысли, заново рождаются и углубляются.

Что читаю сейчас? Вы застали меня в пору, когда я читаю литературу о Севере. В 1984 году — 400-летие Архангельска, столицы Севера, который сыграл в истории страны, в истории русской культуры важную роль. К тому же это моя родина... Перечитываю видных писателей Севера — Степана Писахова, Бориса Шергина, сказочницу — землячку мою Марию Кривополенову. Все три имени принадлежат к самым почитаемым и достославным именам русской культуры, а мне приходилось неоднократно убеждаться, что наши читатели не знают их. Весь мир зачитывается сказками Андерсена, а удивительных сказок Писахова не знает. А сказки его необыкновенной выдумки, беспримерной фантазии. По яркости, народности и образности языка Писахов не имеет себе равных. Это сказочник, созвучный нашему времени — веку невиданных изобретений, парению на грани фантастики. Виноваты наша книжная пропаганда и издатели. Сказки вообще у нас издаются редко, от случая к случаю, хотя интерес к ним у народа очень велик.

Борис Шергин — писатель другого склада, «писатель души, сердца», который, как никто до него, раскрыл идеи братства, красоты, взаимовыручки. На Севере жить единоличником, волком невозможно. Это писатель удивительного, неповторимого, своеобычного слова. И тоже нашему читателю малоизвестен.

Мария Дмитриевна Кривополенова знала столько былин, скоморошин, сказок, песен, что память ее кажется совершенно необычной для привычных измерений. Моя пинежанка. Человек обостренного, красивого слова. И тоже не очень читаемая. Больше надо издавать русских сказок, спрос на них огромный.

В конце нашей беседы я попросила Федора Александровича сказать, над чем он работал последнее время, назвать новые книги, познакомить со своими планами.

— За последние год-полтора закончена работа над собранием сочинений, последний том которого выйдет

в ближайшее время. В 1981 году опубликовал цикл рассказов в «Неве». Там же — повесть «Мамониха», в журнале «Север» — цикл коротких рассказов «Трава-мурава»; все это можно найти в недавно вышедшей книге «Бабилей» («Советский писатель», Ленинградское отделение). В майском номере журнала «Новый мир» опубликован цикл рассказов. Только что написал, тоже для «Нового мира», воспоминания об Александре Яшине, которого знал.

Над чем работаю? Я работаю фронтально — рассказы, повести, эссе, воспоминания. Это все в сфере моего сегодняшнего внимания. А если говорить о главной работе, над которой размышляю многие-многие годы, — это книга о России, о социальных и духовных исканиях России в канун революции.

1982

В КРАЮ РОДНИКОВОГО СЛОВА

Русский Север. Поморье. Или еще — Двинское Заволочье, как его в старину называли новгородцы, первые русские насельники здешних мест. Родная, ни с чем не сравнимая земля отчич и дедич. Край невероятных просторов, раздолья и воли (Север никогда не знал ни татаро-монгольского ига, ни крепостного права), край редкого богатства и редкой красоты, которая и поныне еще не утратила очарования первобытной дикости.

Беспредельные леса, кишмя кишевшие зверьем и птицей, многоводные реки и озера, серебряные от плещущейся рыбы, белые колдовские ночи и ошеломляющее, воистину божие величие северного сияния — таким увидели этот край первые русские пришельцы.

Но Север — не сказка, не Беловодье, не та обетованная земля, о которой веками мечтало крестьянство. Север — это тощие, худородные подзолы и супеси, с которых в зяблый год не соберешь даже семян. Север — это бесконечная зима с непролазными снегами и лютыми морозами. Север — это штормы и бури Студеного моря. И потому Север — это работа, работа и работа.

И удивительно ли, что именно на этой земле выросло особое племя русских людей — поморов, людей

великого мужества, выносливости и терпения, людей предприимчивых, «быстродумных» и, я бы добавил, «государственников» по духу своему и складу мышления. Ведь именно они, поморы, первыми прорубили окно в Европу, сделали свою столицу — город Архангельск — первыми морскими воротами России, из среды поморов вышли наши первые землепроходцы, еще четыре века назад бесстрашно и дерзко бороздившие на своих немудреных суденышках Ледовитый океан. Отсюда, из Поморья, началось то грандиозное движение русского народа в Сибирь, на Восток, которое известно под завораживающим названием «встречь Солнцу».

Но и свой край, свою землю, с великим трудом отвоеванную у леса, у болот, у моря, уделывали и украшали северяне. Дивные, прославившиеся на весь мир каменные и деревянные храмы (достаточно назвать такую жемчужину северного зодчества, как Соловки), бесподобные бревенчатые дома-богатыри, дома-крепости с их непременным деревянным конем, горделиво восседавшим на двухскатной тесовой крыше, символом крестьянского счастья и благополучия, амбары, целой улицей выстроившиеся на передках села...

Однако, быть может, самый большой, самый непреходящий вклад Севера в сокровищницу национальной культуры — это слово. Живое народно-поэтическое слово, в котором полнее и ярче всего запечатлелась душа северянина, его характер. Слово, которое и сегодня сохранило строй и дух русского языка древнейшей поры, времен Господина Великого Новгорода, и уже одно это делает его краем наших истоков, наших духовных начал, ибо язык народа — это его ум и мудрость, его этика и философия, его история и поэзия.

На Севере издревле вся жизнь, и повседневная и праздничная, была пронизана многоцветным красословьем, будь ли то обычная бытовая речь или по-местному «говóря», то ли песня и сказка, то ли героическая былина и искрометная скоморошина, то ли задиристая и забористая частушка.

А как же иначе? Как жить в этом суровом краю без опоры на чудодейственную силу слова? Занесло, скажем, артель зверобойную в кромешные льды грозного океана — ну и чем, как не словом укрепить пошатнувшийся дух, скрасить невыносимое житье?

Давно вымерли в южной и средней России такие ма-

монты русского национального эпоса, как былина и историческая песня, а здесь, на Севере, еще в двадцатом веке они жили своей полнокровной жизнью, и маленькая, неграмотная старушонка с Пинеги Мария Дмитриевна Кривополенова, известная на родине больше под ласковым именем Махóньки, уже в советские годы изумила и покорила просвещенную столицу своими знаменитыми стáринами, поэтическими преданиями, словно выплеснувшимися из глубины веков.

Но, конечно, волны цивилизации и прогресса, далеко не всегда животворные, докатились и до заповедного края, и сегодня здесь редко услышишь старинную тягучую песню, сегодня почти полностью угас вместе с обрядом цикл свадебных песен, не оплакивают ныне дорогих покойников народные вопленицы, искусство которых достигало величайших поэтических высот, да и сказка, эта неразлучная спутница человека во все времена и во все эпохи, сказка, которая, казалось, коренится в самой природе нашего мировосприятия, — где она сегодня? Разве что в ребячьем сердце, да и то если его опекает и баюкает старая бабка, сама замешенная когда-то на сказке.

Народно-поэтическое творчество Севера всегда жило в дружбе с книжной культурой. Крестьяне Севера, превосходившие грамотой собратьев других губерний, сплошь и рядом были владельцы личных библиотек, и не случайно, что факел учености на Руси зажег крестьянский сын из-под Холмогор Михайло Ломоносов.

Пройдут немногие десятилетия, и русская литература по своему идейному и нравственному накалу станет самой мужиковствующей литературой в мире. В лучшем смысле этого слова. И это несмотря на дворянское и разночинное происхождение ее мастеров. Отныне народное словотворчество Севера, особенно после того как в конце девятнадцатого — начале двадцатого века русская общественность познакомится со знаменитыми былинами, записанными в Карелии и на Архангелогородчине, станет постоянно питать и обогащать русскую и советскую литературу. Назову хотя бы двух таких писателей, как Михаил Пришвин и Леонид Леонов, жизненные орбиты которых не раз пересекались с Севером.

А Борис Шергин, Алексей Чапыгин, Степан Писахов...

Три литературных кряжа, три русских классика,

взращенных Архангелогородчиной, Поморьем, похожих друг на друга, как родные братья, и в то же время таких разных, таких непохожих.

Писания Бориса Шергина, несравненного певца соломбальских корабелов и тружеников Студеного моря, — это, говоря его словами, гимн жизни, песня красоте, это стихи в прозе, прославляющие духовное величие и смирение, братство и артельность, на которых извечно стоит Север. Молитвенно чистое, высокодуховное слово Шергина вобрало в себя и безыскусную красоту разговорной речи, и жар и благоуханье красноречья древности, и торжественную напевность и образность былины, песни, и справедливо называют его поэтической душой Севера.

В характере Алексея Чапыгина, напротив, взыграла поэзия северных просторов, северного раздолья и воли. И есть глубокая закономерность в том, что именно он стал творцом первого исторического романа в советской литературе, автором живописных эпических полотен, в которых с такой силой запечатлена свободолюбивая стихия русского человека.

Степану Писахову суждено было оставить после себя всего лишь один небольшой сборник сказок, но сказок столь самобытных, столь неподражаемо оригинальных, что сочинителя их можно смело причислить к первым сказочникам мира. И опять-таки почва, на которой выросли и всколосились его сказки, — народное словотворчество, на этот раз главным образом скоморошина с ее безудержной фантазией, буйством слова и вымысла, где все перемешано — и бывальщина, и неслыхальщина.

Я упомянул здесь лишь трех выдающихся северян-прозаиков. Но Северу есть чем гордиться и в поэзии. Николай Клюев, к примеру. Поэт, пропевший лебединую песню русскому расколу, тому сложному многовековому явлению, костер которого раздувал еще неистовый Аввакум. А недавно так безвременно ушедший от нас Николай Рубцов, эта надежда русской поэзии, — разве его не Северная земля породила?

Ныне, к великой радости всех северян и патриотов Севера, заново отстраивается столица Севера — Архангельск. На берегах Двины в сказочно короткое время по существу вырос новый каменный город — с просторными улицами и площадями, с современными благоустроенными жилыми домами и дворцами культуры,

с бесподобной, может быть, не знающей себе равных широченной набережной, под стать великой реке, которая беспредельно, как море, разливается под Архангельском.

Разумеется, в новом городе будет увековечена и четырехвековая история Архангельска, такие преславные дела северян, как освоение Арктики, революция и гражданская война, как их военный и трудовой подвиг в годы минувшей войны.

Ну, а дух Севера, то, что придавало когда-то, в пору деревянных построек и мостовых, самобытную неповторимость и особое очарование Архангельску, — как он будет сохранен? Прекрасно представлена материальная культура прошлого в Малых Карелах. Но как будет увековечено словесное искусство Севера, мир сказки и былины, незабываемые имена Марии Кривополеновой, Марфы Крюковой, Алексея Чапыгина, Бориса Шергина, Степана Писахова?

Ранней весной, когда половодьем взыграют северные реки и озера, с юга, из теплых краев и стран возвращаются на свою родину неисчислимые стаи птиц. А там, немного подсохнет да проклюнется зеленая травка, смотришь, потянется на Север и всякий странствующий люд.

Зачем? Ради чего избалованные горожане нередко неделями терпят бездорожье, разные неудобства быта?

Не для того ли, чтобы приобщиться к животворным истокам национальной культуры, чтобы красотой и словом Севера возвысить свою душу, свой дух?!

1982

II

Это самовоспитание,
~~[illegible]~~ и стремленье своей
души, своей бренной
к [illegible],
и иначе себя, каждодневное
самоочищение,
~~[illegible]~~ самоукрепление,
совершенствование всех
действий (~~[illegible]~~ желаний
высшим судом, который
дан человеку — судом
собственной совести
Совесть ~~[illegible]~~ это как раз та
сила, которая даёт
каждому человеку развитие,

БЫЛИ И НЕБЫЛИ СТЕПАНА ПИСАХОВА

Русский Север, заповедный край нашей национальной культуры, испокон века славится своим словом. Сказки, былины, песни, разные стари́ны еще до революции вывозили возами. А старинные русские книги, печатные, рукописные — и с ними был в дружбе северянин, — вывозят еще и поныне. И что удивительного, что именно холмогорский мужик Михайло Ломоносов положил начало истинной учености на Руси, стал основателем нового русского стихосложения.

На редкость урожайной на красное слово оказалась архангелогородская земля в XX веке, когда Россия переживала свое второе возрождение. Алексей Чапыгин, Николай Клюев, Борис Шергин — какие своеобычные таланты! Сложные, нередко противоречивые и очень северные — по языку, по образности, по своей нравственной сути.

А каким буйным северным сиянием взыграл в нашей литературе Степан Писахов, сто лет со дня рождения которого исполняется сегодня!

Все в Степане Григорьевиче Писахове было самобытно и неповторимо: внешность — вылитый конёнковский мужичок-лесовичок, придумщик и фантазер-завирала, каких свет не видывал, и любовь, привязанность одна на всю жизнь — родной Север.

В молодости, пишет он, ему довелось два года путешествовать по странам Ближнего Востока, учиться в Риме и Париже, и он так истосковался по русской зиме, по снегу, что, вернувшись домой, уже летом первым делом кинулся на Мурман — искать уцелевший снег.

Север, Арктику (он был участником первой экспедиции Русанова, потом разыскивал Седова, Брусилова и Русанова, плавал с прославленным ледовым капитаном Ворониным) Писахов изъездил вдоль и поперек. И мало кто так знал, так чувствовал родной край, его культуру и быт, его обычаи и обряды, сказки и легенды, его чудо-язык.

Литературное наследие Писахова (он был еще и живописец) невелико — всего один сборник сказок. Да за-

то каких сказок! По безудержности и буйству фантазии и выдумки, по невероятному сплаву были и небыли, по слову, задорному, хлесткому, радужно-цветастому и всегда с крепким наваром северной гово́ри, наконец по особенностям характера главного героя сказки Писахова не с чем сравнить в нашей литературе, да только ли в нашей!

Сеня Малина, от лица которого ведутся писаховские сказы, — фигура, я бы сказал, сказочная лишь относительно. У него, например, совершенно конкретная «прописка» — деревня Уйма, что в восемнадцати верстах от города Архангельска. И по образу жизни своей он человек нового склада, крестьянин-помор из породы бывалых и артельных людей — Малина последнюю рубашку готов соседу отдать.

В отличие от Иванушки-дурачка, любимого героя русских народных сказок, который везде, на каждом шагу находит себе помощников (добрые люди и духи, вещи, звери и птицы), Сеня Малина — сам великий умелец. Все он умеет делать: ловить рыбу, собирать ягоды, охотиться, работать на «железке», править пароходом, торговать на базаре... И как делать, как работать? Весело, с азартом, «в десять рук», как говорит он сам, и — изобретательно, находчиво.

И вот тут начинается уже сказка. Ну мыслимо ли въяве баню в пароход превратить? А Сеня Малина баню углом в воду столкнул, в крышу жердину с половиком воткнул, «баню натопил, пару нагонил, трубой дым пустил» — в море по́плыл. А песни, обыкновенные северные песни можно заморозить да еще на продажу за́ море вывозить? Можно. «Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют».

Сеня Малина все может, все умеет. Для него, с его несравненной смекалкой и предприимчивостью, ничего невозможного нет. Он засушивает впрок, про запас северное сияние — зимой, в темное время, ах, как светло с ним! Он переправляется на корабле через Карпаты, он расхаживат по городу с налимом, как с собачкой, на веревочке, волков в лесу не ружьем, а лютым холодом берет-морозит. Да чего-чего он только не придумывает, каких только номеров не выкидывает! У него даже самое обыкновенное письмо становится «мордобитным». Ибо оно столь круто, столь сердито написано, что каждое слово заводчика-жулика по морде хлещет, а потом очередь и до губернатора, до «министеров» доходит —

и их «за весь рабочий народ» по мордасам колотит и хлещет.

Да, выдумки и фантазии Писахову не занимать, выдумка и фантазия бурлят у него в каждой сказке, в каждой строке. Писахов — рассказчик из рассказчиков. У всякого слова его, говоря устами Малины, «свой вид, свой цвет, свой свет». Шутки, прибаутки, разные потешки и присказки, всякие подковырки и заковырки вешним половодьем разливаются по его сказкам. А потом, все у него в движении, в кипении, в вихре — человек, звери, вещи: самовар пляшет, печка пляшет, «соборна колокольня за пожарну каланчу» замуж выходит, деревня Уйма в город на свадьбу идет. И все по-северному крупно, размашисто: река — так полтораста верст в ширину, аппетит — так за один присест «съел два ушата штей», а уж если ягоды начнет Малина собирать — пять пудов в горсть, не меньше.

Откуда же такая лихость, такая выдумка, такая неистовая образность?

Многое питало талант Писахова-сказочника: и фольклор, и вечно живые образы отечественной и мировой литературы, и поморский уклад жизни, рождавший людей богатырской удали и яркого, меткого слова, и вся атмосфера бурного XX века с его революциями и фантастическими научно-техническими открытиями, чуть ли не переворачивающими привычную картину мира. Атмосфера, породившая небывалый масштаб художественного мышления. Ярчайший пример тому — Маяковский, который запросто распивает чаи с солнцем и через века разговаривает с Пушкиным.

Ну, а если непременно докапываться до родословной писаховского героя, то он, конечно же, из веселого племени русских скоморохов, тех бывалышных потешных людей, речевое искусство которых и по сие время дает себя знать в языке северян. Да и в литературе русской скомороший заквас то и дело прорывался задорным народным словом. Скажем, пушкинский Балда или гоголевский пасечник Рудый Панько — разве на каждого из них не падают отсветы смеховой культуры, носителями которой в Древней Руси были скоморохи? И, конечно, безунывный, веселый нрав и дух далеких предков воспрянули в Василии Теркине, смех и шутки которого так поддерживали и окрыляли наш народ в годы войны.

Степан Писахов, несомненно, принадлежит к самым замечательным и своеобразным сказочникам мира. Но

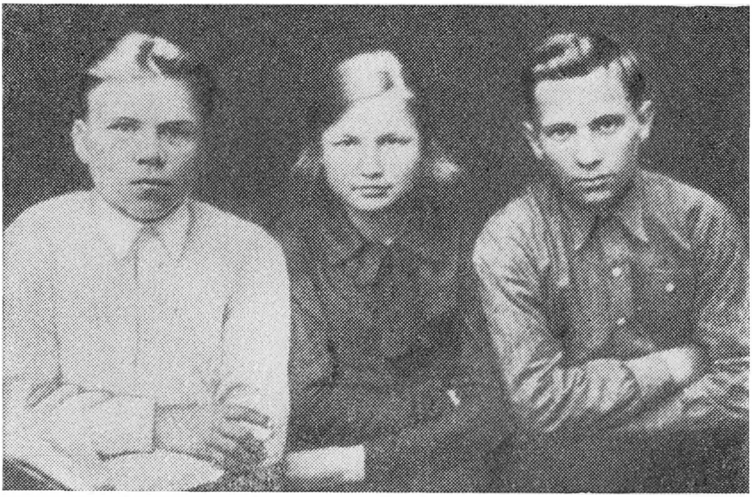




Ученики 5-го класса Карпогорской школы. Во втором ряду в центре — Федор Абрамов.



После блокадного госпиталя. Ленинград, 1942.



После окончания 10-го класса. Справа — Федор Абрамов. Карпогорцы, 1938.

Районная читательская конференция по роману «Братья и сестры». Карпогоры, 1960.



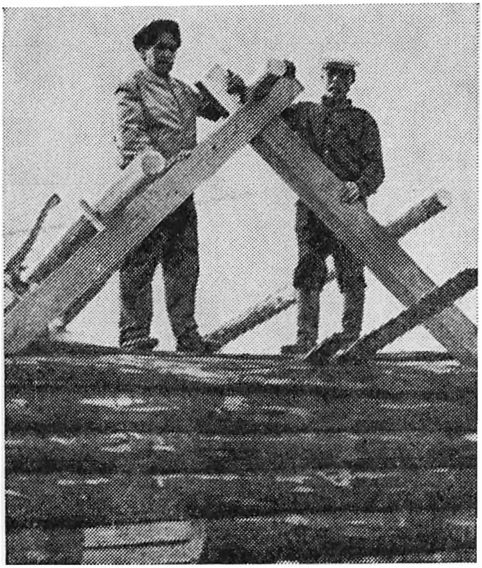


Федор Абрамов со своей учительницей П. Ф. Фофановой (в центре) и читателями-земляками. Карпогоры, 1960.

На дальнем сенокосе. Веркола, 1960-е годы.



На строительстве бани. Веркола, 1975.



У механизаторов. Веркола, 1976.





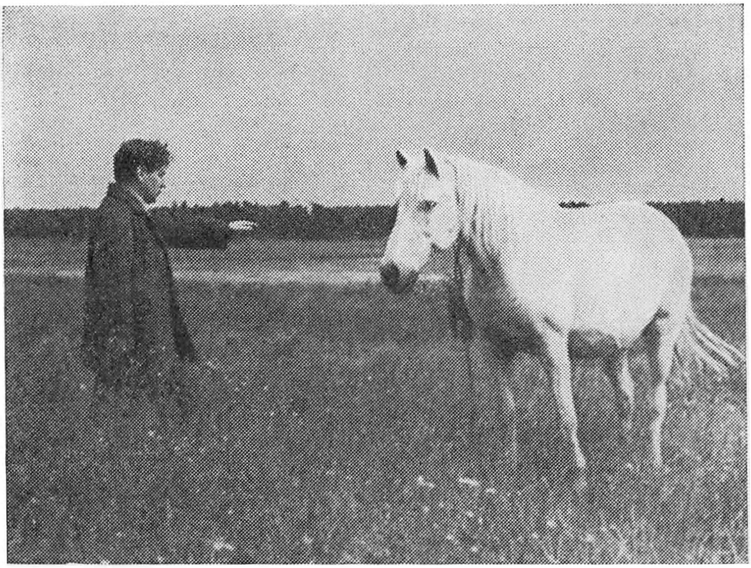
Первый зарод. В ц е н т р е — Федор Абрамов. Веркола, 1975.

На сенокосе. Веркола, 1977.



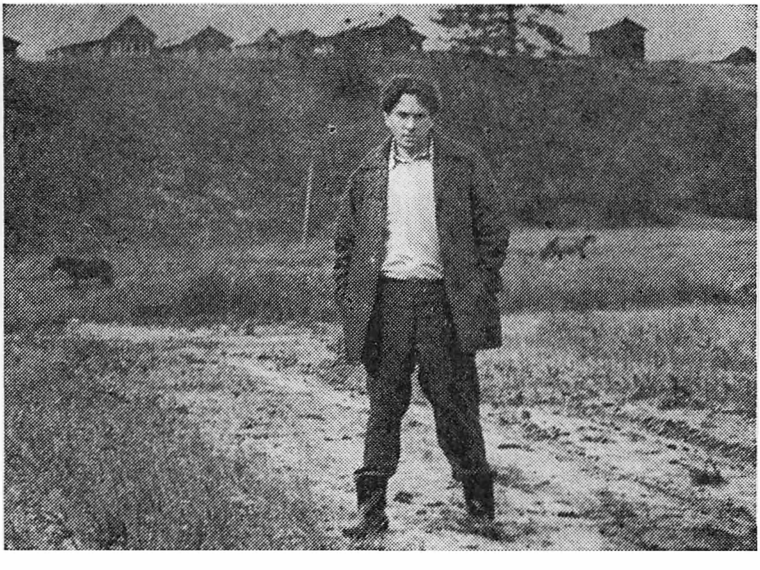


Веркола, 1976.





Веркола, 1976.





Со студентами Ленинградского театрального института. Веркола, 1977.

С земляками. Веркола, 1979.

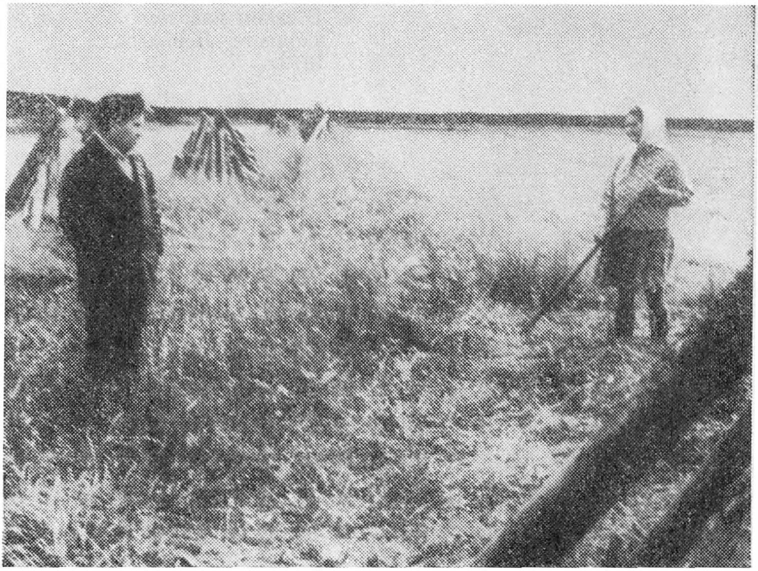




С любимыми космеями. Веркола, 1978.

На берегу Пинеги. Веркола, 1979.





На берегу Пинеги, Веркола, 1979.



В Комарове, 1978.



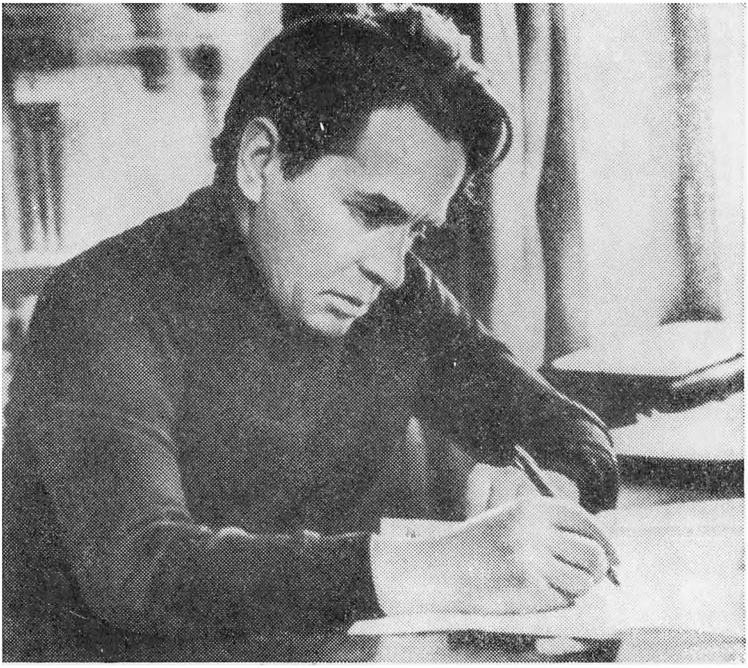
В своем рабочем кабинете. Ленинград, 1973.

За рабочим столом. Ленинград, 1979.

На Неве. Ленинград, 1979.

Сибирский чернозем. Красноярск, 1973.









Федор Абрамов и поэт Антонин Чистяков (справа) у председателя колхоза на Новгородчине Н. М. Андрианова. 1979.

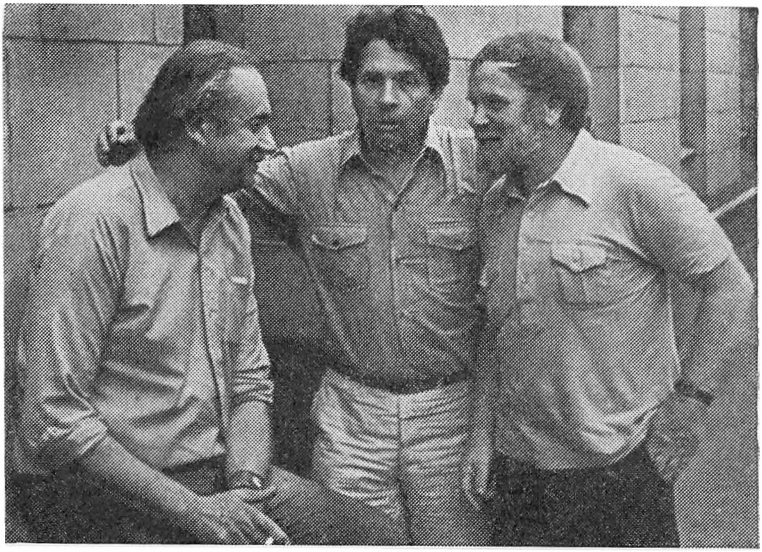


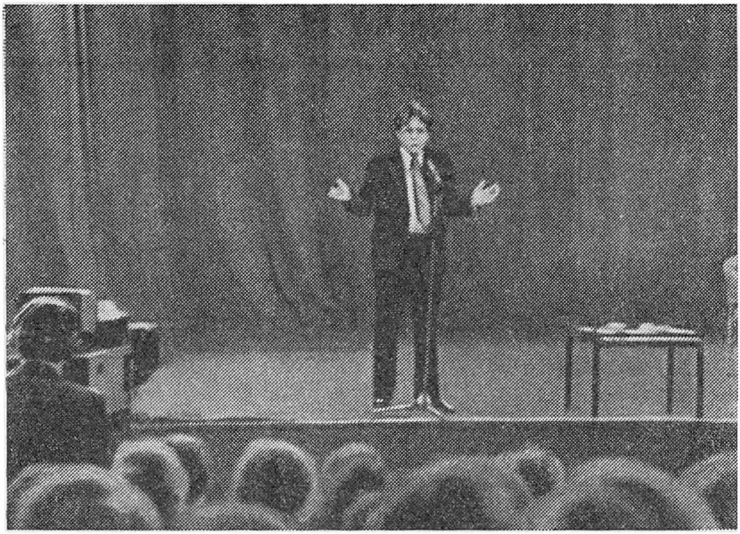
Федор Абрамов выступает на VII съезде писателей СССР. Москва, Большой Кремлевский дворец, 1981.



Мариэтта Шагинян и Федор Абрамов
на VII съезде писателей СССР, Москва, 1981.

Глеб Горышин, Федор Абрамов и Василий
Белов на VII съезде писателей СССР.
Москва, 1981.





Вечер Федора Абрамова на телестудии Останкино, Москва, 1981.

Последний вечер Федора Абрамова в Доме писателей имени Маяковского. Ленинград, 4 апреля 1983.



Андерсена, братьев Гримм у нас знают все от мала до велика, о них написаны горы книг. А хорошо ли мы знаем своего соотечественника? Не слишком ли мало, от случая к случаю, издаем его?

На берегах Северной Двины, которая раскинулась под Архангельском, как море, ныне отстраивается новый город. И отстраивается, с удовольствием отмечаю, неплохо. Его набережная, например, по своей широте и размашистости, может быть, не знает себе равных в мире. Да и улицы отдельные удались, чего, к сожалению, не скажешь о многих нынешних городах.

Но вот вопрос: предусмотрено ли в новой столице Севера увековечить мир сказки и былины? Почувствует ли приезжий человек, что он попал в край, где живет еще дух прославленной беломорки Марфы Крюковой и великой сказительницы с Пинежья Марии Кривополеновой?

Само собой, подобные раздумья напрашиваются и в отношении писателей-северян, и прежде всего Степана Писахова, который долгие годы был одним из самых знаменитых людей старого деревянного Архангельска.

1979, 24 октября

ВЕЛИКИЙ ЖИЗНЕЛЮБ

Первое впечатление: я попал в сказку, в какое-то Берендеево царство — так густо, так пестро был обставлен просторный кабинет чучелами разных птиц, нередко мне неведомых, незнакомых, вывезенных из далеких краев, да и сам хозяин кабинета, могучий старик-богатырь с чеканным орлиным профилем, был под стать сказке.

И уже совсем околдовал меня Иван Сергеевич Соколов-Микитов, когда заговорил, когда я услышал его слово.

Ивану Сергеевичу было что рассказать, что вспомнить. За свою долгую жизнь охотника, путешественника, следопыта он исколесил полмира, видел много удивительного и диковинного, знавал интереснейших людей, и вот в добрую минуту он охотно рассказывал о пережитом и виденном. Рассказывал своим глуховатым голосом, раздумчиво, неторопливо, как бы взвешивая и

ощупывая каждое слово, пробуя его на прочность, на вкус.

И потому все, о чем он рассказывал, было зримо, необычайно просто и достоверно и в то же время празднично.

Вообще Иван Сергеевич умел придать праздничность, некий ореол романтичности самым обыденным вещам. Вот, скажем, застолье, чарочка... Так ведь у него это целая поэма, целое театральное действо. Бутылка на столе — избави боже. Штофик. Граненый, старинного литья, да еще и речистый — с перезвоном цветных камешков. И те камешки откуда? Из Арктики, с Новой Земли, собранные самим Иваном Сергеевичем. И он, бывало, в хорошем расположении духа любил говаривать:

— А что, не послушать ли нам голоса Арктики?

Самой большой сердечной привязанностью Ивана Сергеевича была его родная Смоленщина, русская деревня, им посвящены самые сердечные строки его произведений, и надо ли говорить, что они были и самым излюбленным предметом его разговоров!

Тут Иван Сергеевич молодел на глазах, весь преображался, в нем, выражаясь его же словами, «оживал... светловолосый, мечтательный мальчик с непокрытою, выгоревшею на солнце головой», и далекое прошлое, старая деревенская Русь, русская природа, само слово русское — все как бы рождалось заново, являлось в своей изначальной родниковой чистоте.

Да, Иван Сергеевич рассказчик был отменный, неподражаемый, единственный в своем роде. Но с ним хорошо было и помолчать.

В его богатырской, величавой фигуре, в его размеренной неторопливости была какая-то особая прочность и надежность, какая-то первозданность, роднящая его с морем, с лесом, с полем, и не потому ли такое целебное, я бы даже сказал оздоровляющее воздействие оказывал он на всех, кто с ним соприкасался?

Вокруг Ивана Сергеевича невозможна была суета, всякая мелочная возня, дрязги. Один вид его, одно присутствие настраивали вас на вечное, спокойное, мудрое. Возле него вы просветлялись, очищались душой, помыслами, набирались силы для жизни, для работы. И недаром один мой московский приятель говаривал:

— У меня сегодня праздник. У Ивана великого побывал.

Жизнь, однако, в старости самого Ивана Сергеевича далеко не была праздником. Как писатель, он кормился прежде всего от своих ног, от путешествий и странствий, и каково ему было целыми годами сиднем сидеть взаперти, в четырех стенах, жить одними воспоминаниями, пусть и дорогими и милыми его сердцу? Семейные трагедии одна за другой обрушивались на старого человека, а в последние годы ко всем этим бедам прибавилась еще слепота.

И, однако, в памяти всех, кто знал его близко, Иван Сергеевич остался великим жизнелюбом, который до последних дней своих и в письменном, и изустном слове с мудростью старости и простодушием детства славил жизнь.

1980

О ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ

«Комсомольская правда» обратилась ко мне с просьбой поделиться раздумьями о школьном обучении — проблеме, которая, несомненно, принадлежит к самым важным и сложным проблемам нашего времени.

К сожалению, у меня давно нет живой связи со школой, а говорить о практике сорокалетней давности, о той впервые созданной в сельском районе средней школе, которую я окончил, да где — в глухом лесном краю, в трехстах верстах от ближайшего города, — так ли уж это поучительно для сегодняшнего бытия?

Скажу только одно: при всех недостатках сельской школы — и тогда, и ныне — я бы и сейчас ни за что, ни в каком разе не променял ее на городскую. Ибо природа, национальный уклад жизни, народная культура и язык, которые в наиболее первозданном виде сохранились в деревне, — все это имеет неоценимое и ни с чем не сравнимое значение для нравственного и эстетического воспитания личности.

Я приветствую всякий деловой и конструктивный разговор о школе. Я с интересом читаю статьи об организации учебного процесса, о программах, о профессиональной ориентации учащихся, но первейшая роль в школьном деле, конечно же, принадлежит учителю. Именно от его таланта, от масштабности и богатства его личности, от его душевной щедрости во многом за-

висит духовный климат школы, тот нравственный тип человека, который она выращивает. И тут мне хочется вспомнить о своем незабвенном учителе — Алексее Федоровиче Калинцеве.

Жизнь не обделила меня встречами с так называемыми выдающимися людьми. Я слушал лекции у знаменитых профессоров и академиков, которые стали гордостью отечественной науки, я общался и общаюсь с крупнейшими писателями, художниками, артистами страны, мне не раз доводилось беседовать с государственными и партийными деятелями. Но никто, ни один человек за всю жизнь не оказал на меня столь могучего нравственного воздействия, как сельский учитель Алексей Федорович Калинцев.

Все поражало нас, школьников, в этом немолодом уже человеке. Поражали феноменальные по тем далеким временам знания, поражала неистощимая и в то же время спокойная, целенаправленная энергия, поражал даже самый внешний вид его, всегда подтянутого, собранного, праздничного.

Никогда не забуду свою первую встречу с Учителем.

Был мартовский воскресный, морозный и ясный, день 1934 года, и я, четырнадцатилетний деревенский паренек, с холщовой котомкой за плечами, в которой вместе с бельишком была какая-то пара ячменных сухариков (тогда ведь была карточная система — 300 граммов хлеба на иждивенца!), в больших растоптанных валенках с ноги старшего брата, впервые в своей жизни вступил в нашу районную столицу — Карпогоры. Тогда это было обыкновенное северное село, но все мне казалось в нем удивительным: и каменный магазин с железными дверями и нарядной вывеской, и огромное, по моим тогдашним представлениям, здание двухэтажной школы под высоким, мохнатым от снега тополем, где мне предстояло учиться, и необычное для моей родной деревни многолюдье на главной улице. Но, помню, все это вмиг забылось, перестало для меня существовать, как только я увидел его, Алексея Федоровича.

Он не шел, он шествовал по снежному утоптанному тротуару, один-единственный в своем роде — в поскрипывающих на морозе ботинках с галошами, в темной фетровой шляпе с приподнятыми полями, в посверкивающем пенсне на красном от стужи лице, и все, кто попадался ему навстречу — пожилые, молодые, мужчины, женщины, — все кланялись ему, а старики даже

шапку с головы снимали, и он, всякий раз слегка дотрагиваясь до шляпы рукой в кожаной перчатке, отвечал: «Доброго здоровья! Доброго здоровья!»

Такого я еще не видывал. Не видал, чтобы в наши лютые морозы ходили в ботинках, в шляпе, чтобы все от мала до велика так единодушно почитали человека.

Да, Алексей Федорович умел поддержать свое реноме народного учителя: самая обычная прогулка по райцентру у него превращалась в выход, но, конечно, великую любовь и уважение к себе моих земляков он снискал прежде всего своим беззаветным, поистине подвижническим служением на ниве народного просвещения.

Еще задолго до революции окончив учительскую семинарию, он, наделенный незаурядными, а может быть, редкими, даже исключительными способностями, сознательно, по убеждению пошел, как говорили тогда, в народ, и вот свыше четверти века учительствовал у нас, на Пинежье, в одном из самых глухих районов Архангельской области.

Не буду говорить обо всем, что он сделал за свою жизнь. Да это и невозможно в рамках газетной статьи. Ведь, помимо чисто учительской работы, он еще многие годы занимался ликвидацией неграмотности среди взрослого населения, постоянно выступал с лекциями и беседами на самые разнообразные темы. А самодеятельный драмкружок при районном клубе? А первый струнный оркестр в райцентре? А школьный опытный участок, который долгие годы был рассадником агрономических знаний среди крестьян? Все это и еще многое, многое другое было делом рук его, Алексея Федоровича. Воистину он был первым воином и знаменосцем у нас, на Пинеге, того великого движения двадцатых-тридцатых годов, которое принято называть культурной революцией.

Та же многогранная, та же разносторонняя деятельность отличала Алексея Федоровича и как преподавателя.

В тридцатые годы в стране не хватало учителей, тем более на вес золота были они у нас, в лесной глуши. И вот Алексей Федорович, для того чтобы не сорвать в школе учебный процесс, годами осваивал предмет за предметом. Он вел у нас и ботанику, и зоологию, и химию, и астрономию, и геологию, и географию, и даже немецкий язык. Немецкий язык он выучил самостоя-

тельно, уже будучи стариком, выучил с единственной целью, чтобы дать нам, первым выпускникам школы, хоть какое-то представление об иностранном языке.

А как назвать, какой мерой измерить то, что он делал для нас как преподаватель дарвинизма! Один-единственный учебник на весь класс! И все же мы знали предмет, знали учебник. По конспектам, составленным Алексеем Федоровичем.

Чтобы понять, что это был за труд для нашего учителя, я должен заметить, что ему нелегко было выставлять даже отметки в классном журнале. Старая, пораженная ревматизмом рука его при этом тряслась (я и сейчас, спустя сорок лет, слышу это потрескивание пера в напряженной тишине затаившего дыхание класса), подслеповатые, близорукие глаза только что не бороздили лист бумаги, и всегда сияющая, словно излучающая свет его лысина становилась малиновой от натуги. И вот как, когда, каким образом этот полуинвалид-старик мог написать конспект очередного раздела учебника, который мы проходили, да еще не в одном экземпляре, а в двух-трех, да с рисунками, это для меня и доселе остается загадкой.

Хорошо поклониться святыне! Человеку это нужно в любом возрасте, в любом звании. И я завидую, безмерно завидую тем, кто может постоять с обнаженной головой у могилы своего любимого учителя. Мы, пинежане, сделать этого не можем. Мы, пинежане, не уберегли нашего Учителя. Он пал жертвой подлой клеветы и наветов, и мы даже не знаем, где и как окончил он свои дни.

Алексей Федорович Калинцев — явление, конечно, необычное. Самородок, подвижник, русский интеллигент в самом высоком значении этого слова. И взывать к тому, чтобы все учителя были Калинцевыми, — бессмысленно. Но одного мы вправе требовать от каждого учителя — преданности своему делу. А преданность и энтузиазм возможны только при одном условии — при условии, что в педвузы будут принимать людей по призванию. Понятно, этого принципа должны придерживаться все вузы без исключения, но пединституты, думаю, — в особенности.

Другая мысль, которая сама собой напрашивается, когда я обращаюсь к светлой памяти моего Учителя, — мысль, впрочем, тоже не очень новая, — о пополнении нынешней армии учителей мужчинами.

Сейчас постоянно слышишь: дисциплина в школе упала, авторитет учителя пошатнулся. А почему? Почему — упала? Почему — пошатнулся? Кто хоть раз по-настоящему, всерьез проанализировал причины? Общеизвестно: школа — зеркало общества. Но ясно и другое: многие беды современной школы связаны еще с тем, что она по своему преподавательскому составу стала, в основном, женской. Мне, например, известны школы, и таких немало, где нет ни одного мужчины-учителя. И это плохо, это ненормально! Это ведет к всевозможным перекосам и перегибам, придает одностороннее направление всему школьному воспитанию.

Комсомол, «Комсомольская правда» давно уже зарекомендовали себя как инициаторы многих важных начинаний в нашей стране. А почему бы комсомолу и «Комсомольской правде» не объявить что-то вроде комсомольского призыва юношей в педвузы? Почему бы жилищное, бытовое и прочее устройство молодых учителей-холостяков на селе — а оно там, за редким исключением, никуда не годится, и это одна из причин феминизации нашей школы — почему бы все это не взять комсомолу в свои руки?

Великое это дело — школа. Нет в нашем обществе фигуры более важной, чем учитель. И как тут не вспомнить слова моего старого Учителя, который любил в торжественные минуты говорить:

— Учитель — это человек, который держит в своих руках завтрашний день страны, будущее планеты.

1975

В АРМЯНСКОМ МИРЕ

За последние годы мне довелось немало поколесить по белу свету, и, как говорится, удивить меня нелегко. Но Армения меня удивила. И удивила прежде всего силой своего национального духа, деятельной любовью к земле, к истории.

Не буду говорить о возрождении из руин бесподобных храмов древности — это, в конце концов, явление сегодня повсеместное. Но возьмите современные памятники, воздвигнутые за последние десятилетия. Сардарабад, Давид Сасунский, мемориал жертвам геноцида, Матенадаран... — да всех не перечислишь. Эти пламен-

ные творения из камня созданы великими сынами Армении, теми, кто черпал свое вдохновение в обращении к древним истокам нации, ее многострадальной и героической истории, кто жил всеми заботами сегодняшнего дня и кто нес в своем сердце свет будущего. И не потому ли эти каменные шедевры излучают такую чудодейственную энергию, оказывают такое духоподъемное воздействие на нас?

Никогда не забуду своей первой встречи с Сардарабадским мемориалом. Была страшная жара, солнце раскаленной лавой лилось на голову, и я, северянин, выйдя из такси, не без страха шагнул навстречу желтому, выжженному холму.

Но вот что такое истинное, подлинно великое искусство! Нет жары, нет солнца. Радостная, освежающая волна хлынула на меня, едва я поднялся на холм, — от каменных быков из красного туфа, от звонницы, от исполинских орлов — стражей Армении, от красной стены с былинными конями; а когда я добрался до нежно-розового, сиреневого здания, где разместился этнографический музей Армении, я ожил и душою: такая чистота и святость, такая умиротворяющая мудрость исходили от этого благородного творения Исраэляна.

Предметом особой зависти для меня, россиянина, выросшего в краю невероятных просторов и бездорожья, стали армянские дороги. Да о многом, о многих насущных нуждах Русской земли думалось мне в бытность мою в Армении.

И вот я вновь в армянском мире, на этот раз благодаря Сильве Капутикян, ее прекрасной книге «Меридианы карты и души»*, рассказывающей о жизни и заботах тех армян, кто по воле истории и разного рода роковых обстоятельств оказался на чужбине, за пределами земли своих предков.

Четыре долгих месяца С. Капутикян разъезжала по городам Канады и Америки, которые стали пристанищем ее заокеанских «сокровников», четыре долгих месяца знакомилась она с их жизнью и бытом, вникала в их заботы и нужды, общалась с разными людьми, выступала на разных собраниях со словом правды о Советской Армении. Десятки, сотни разных человеческих судеб, трагических и благополучных, люди самых разных поколений и профессий — ремесленники, клерки,

* Капутикян С. Меридианы карты и души. М., 1978.

бизнесмены, деятели культуры, молодежь с ее поисками и заблуждениями, межпартийные страсти спюрка, самые многообразные сведения о науке, архитектуре, скульптуре, музыке, истории... Короче, в книге С. Капутикян жизнь армянского спюрка за океаном представлена столь разнообразно и столь многогранно, что книгу ее невольно воспринимаешь как своеобразный путеводитель по этому миру. К тому же книга завораживает необычайно густой метафоричностью, особым эмоциональным накалом, искрометным образным словом. Сразу чувствуешь: книга написана поэтом, поэтом-патриотом, пером которого движет любовь к Армении, ее народу, любовь к родному языку.

«Меридианы карты и души» по своему жанру дневник, но дневник особенный: путевые заметки об американо-канадском спюрке то и дело перемежаются картинами, сценами, событиями из жизни сегодняшней Советской Армении, из жизни друзей. И это контрастное сопоставление двух миров пронизано единой, страстной, заветной думой С. Капутикян, которая вела ее в далекие и нелегкие странствия.

«Мы должны, — пишет она, — объединить, собрать вместе духовную энергию народа и, как бы ни был разбросан спюрк — в Азии или в Европе, в Америке или в Австралии, — должны сделать так, чтобы его дыхание сливалось... с духовной атмосферой, исходящей от Арарата, от озера Ван и Сасунских гор, от развалин Ани и строк Нарекаци, из монастырей Гандзасара и Гегарда, от Вечного огня Цицернакаберда, от смеющегося Еревана, от всей новорожденной Армении. Мы должны сделать так, чтобы энергия, которая подымается с расстелившейся по свету шири спюрка, чтобы она не рассеялась, не пролилась дождем над чужими океанами, а вошла в общий созидательный потенциал народа, из которого набирают силу его великие сыны, его культура, его вклад в общечеловеческое...»

И с высоты этой огромной задачи С. Капутикян оценивает все, что видит и встречает в спюрке: политические группировки и партии, культурные организации и объединения, печать, литературу, умонастроения, характеры и деятельность отдельных людей.

С гневом, сарказмом пишет она о тех, кто забыл родной язык, потерял ощущение кровной связи со страной своих отцов, кто погряз в душевной сытости и партийных страстишках. И наоборот, чувством нескрывае-

мой боли и истинно материнского сострадания отмечены строки, обращенные к заблудшим, к тем, кто все еще не сделал выбора между чужбиной и родиной.

Книга С. Капутикян адресована в первую очередь, естественно, братьям-армянам. Но у нее будут миллионы и других читателей. Ибо важные, сложные, нерешенные вопросы возникают в книге — вопросы, по которым сегодня неустанно идут споры, разгораются битвы во всем мире: национальное и общечеловеческое, национальная самобытность культуры и национальная ограниченность, вечно живые народные традиции и современность машинно-космического века, унифицирующая города, дома и даже деревни. Потребительство, «вещизм», индивидуализм, одиночество... и гуманизм, демократизм, мечта о единстве людей во всем мире.

Трудные, очень трудные это вопросы. С одной стороны, национальное чувство может быть великой созидательной и объединяющей силой — и Армения ярчайший пример тому, а с другой стороны, при известных условиях, в известном историческом контексте национальное может перерасти в национализм и даже нацизм, и тогда это — погреба динамита, землетрясение, которое может обернуться бедой и трагедией для других народов, да в конечном счете и для того народа, из недр которого вышло это зло.

С. Капутикян отлично понимает эту опасность. Она сама дочь народа, который в свое время стал жертвой чудовищного геноцида. И она воинственно непримирима к малейшим перекосам в национальном вопросе, к малейшим проявлениям национальной спеси и чванства. Но больше всего воюет С. Капутикян с космополитизмом, с тем, что иссушает человека, лишает его родных корней, родной почвы, вековых устоев.

Много восторженных страниц уделено в книге людям «с напряженной духовностью, с постоянной тревогой за судьбу народа», тем труженикам, которые превращают «землю, камень, дерево в хлеб, дома, машины», и тем избранникам, которые «создают рельеф и контуры, характер земли и которые видны издалека». Народ — именно они, утверждает С. Капутикян. А «дельцы и деляги, лихорадочно выхватывающие у жизни все, что только удастся ухватить... — они преходящи, временны и не оставят никакого следа ни в характере, ни в исторической поступи народа».

Хотелось бы, очень хотелось бы разделить уверен-

ность автора. Но история многих народов свидетельствует о том, как пошедшие в рост сорняки на долгие годы, иногда на десятилетия, заглушают развитие народной души, калечат народный характер, а порой и заражают тлетворными бациллами, приводя нацию к застою и вырождению. И потому сегодня, когда так обострились в мире национальные проблемы, необходимо поглубже взглянуть на народ, всерьез разобраться в том, что же такое народ и национальный характер. Только ли великое и доброе заключено в нем? Не пора ли от односторонней, порой идиллической трактовки его перейти к трезвому разговору о всей сложности и противоречивости народного организма, его бытия? И не единственно ли правильное отношение к своему народу — ради его же блага, ради его духовного здоровья — видеть в нем наряду с истинно великим и его слабости, его недостатки?

Сказанное — не упрек С. Капутикян. Ее песня, ее вдохновенный гимн, пропетый своему народу, одержавшему такие победы на пути своего возрождения, оправдан внутренним заданием книги.

Однако более обстоятельная и более конкретная картина жизни современной Армении во всей красочности, сложности и противоречивости ее сегодняшнего бытия не помешала бы, а, напротив, сделала бы страну армян еще более притягательной для соплеменников, проживающих за рубежом.

1980

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Слово у гроба

Этот небольшой круглый зал давно уже стал не только местом встреч живых писателей, свидетелем их земных радостей и тревог. Он стал и местом последнего прощания с нашими товарищами.

Но нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда. И сегодня над ее гробом

в последнем низком поклоне склонились все: и живые и мертвые, и герои и жертвы, все участники великой битвы за город на Неве.

Я знаю, не понаслышке знаю, что такое блокада. Я помню, не забыл, как в самую страшную пору — в декабре-январе — лежал в нетопленом госпитале с простреленными ногами, в одной из аудиторий исторического факультета Университета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален еще двумя матрацами.

Так ведь то было в военном госпитале, где был все ж таки кое-какой уход за больными, была — худо-бедно — трехразовая кормежка. А что сказать о тех, домашних госпиталях? А Ленинград — мы помним это — на две трети, на три четверти в то время был госпиталем. Великое множество промороженных склепов и пещер, в которых медленно умирали истощенные ленинградцы.

И, может быть, самым страшным для них, для этих умирающих, был еще не голод, не стужа, не кромешная тьма, а одиночество. Да, да, одиночество, самое обычное одиночество, когда некому сказать тебе последнего слова, когда не от кого услышать слова поддержки и утешения.

И вот в часы этого страшного одиночества над головой блокадника из промороженного, мохнатого от инея репродуктора-тарелки — такие тогда были — вдруг раздавался живой человеческий голос. Голос, полный неподдельной любви и сострадания к ленинградцам, голос, опаленный ненавистью к врагу, голос, взывающий к жизни, к борьбе.

То был голос Ольги Берггольц.

И тогда совершалось чудо: силою слова, силою только одного человеческого слова, правда слова Ольги Берггольц, безнадежно больные, истощенные, умирающие воскресали к жизни.

Но человеку не только надо помочь жить. Человеку надо еще помочь умереть. Умереть достойно, по-человечески. И это, между прочим, хорошо понимала и понимает церковь, облегчая душевные страдания умирающего словами утешения и отпущения земных грехов.

Ольга Берггольц не утешала, не отпускала грехов. Да и какие грехи были у блокадных ленинградцев?

А если и были у кого, то они дотла вымерзли в лютом холоде тех дней.

Ольга Берггольц давала умирающим другую веру — веру в торжество жизни, в торжество света и разума, веру в Победу, в победу человека над оборотнем, над двуногим зверем.

Ольга Берггольц как человек умерла. Отмучилась. Кончились ее земные страдания, а их на ее долю выпало немало. Все муки, все беды эпохи сполна прошли через ее жизнь, через ее сердце. Физические недуги годами терзали ее. Но не будем оскорблять ее память слезами сентиментальной жалости. Покойница не любила этого. Она была мужественным человеком.

Ольга Берггольц прожила большую и завидную жизнь. Ей выпало великое и трудное счастье стать поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. И поэтому смерть ее необычна. Она перешагнула за порог жизни, чтобы обрести новую жизнь, обрести бессмертие, стать легендой. Она умерла, чтобы жить в веках. Жить столь же долго, сколько суждено жить нашему бессмертному городу на Неве.

18 ноября 1975

ПРОЩАЙ, ДРУГ!

Умер Николай Степанович Минин — первый топор Верколы, один из самых ярких людей Пинежья колхозной поры.

Восемнадцать лет было Николаю Степановичу, когда он на войне лишился ноги. И вот не дрогнул, не пал духом человек, а смело принял новый бой — бой с послевоенной разрухой. Скотные дворы, телятники, разные хозяйственные постройки в деревне — все это дело его умелых, поистине золотых рук. От Николая Степановича пошла расти и обновляться послевоенная Веркола. Его приглашали в прорабы, к нему обращались за советом, когда ставили новый дом. И не зря, не зря закрепилось за ним ласковое прозвище Папа — он и в самом деле занял место отца в жизни послевоенной безотцовщины.

Покойный любил острое слово, часу не мог прожить без шутки и скоморошины. Да и как было иначе?

Я, помню, не раз видывал, как его под руки приво-

дили домой со стройки — ну-ка, попробуй попрыгай целый день на одной ноге, помозоль угол! А вот лето подходит, самая лучшая пора в жизни северянина. А для Николая Степановича эта лучшая пора — сущий ад, потому что и без того капризная культя не терпит жары, и приходится днями, а иногда и неделями томиться дома, ползать или, как любил говаривать покойный, вместе со своими малыми ребятишками предаваться забавам детства.

Нет, нет, без шутки да без веселого слова никуда такому человеку. И без книги. Николай Степанович дружил с книгой. Он был, пожалуй, самым яростным читателем села. И это тоже одна из причин того, что к нему так жадно тянулись люди всех возрастов. Он много знал, с ним было интересно поговорить.

Не хочу наводить позолоту на покойного. У Николая Степановича были слабости, и немалые. Но он заслужил, чтобы его добрым словом вспоминали земляки, все знавшие его пинежане.

1976

О Н. Я. БЕРКОВСКОМ

Мне выпала большая честь — председательствовать на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Наума Яковлевича Берковского.

Наум Яковлевич Берковский бесспорно был, а вернее сказать, является выдающимся деятелем отечественной культуры, и все значение его наследия, масштабность его творческой личности во всем объеме мы можем оценить, быть может, лишь сегодня, когда одна за другой выходят его книги.

Я не оговорился, когда назвал Наума Яковлевича деятелем культуры. Да, по роду своих занятий он был прежде всего литературовед. Но он шире этого понятия. Наум Яковлевич счастливо совмещал в себе и литературоведа и критика, и философа и историка, и театроведа и искусствоведа. И ко всему этому он был еще поэт. Да, поэт. Поэт редчайшей породы, поэт в литературоведении, у которого было особое, прямо скажем, не так уж часто встречающееся в нашей науке слово —

слово предельно простое и весомое, как хлеб; слово, исполненное подлинной поэзии мысли.

Я не сомневаюсь, выступающие здесь — коллеги, друзья, ученики Наума Яковлевича — со знанием дела, во весь голос скажут о Науме Яковлевиче — ученом Скажут о необычайной широте его научных интересов, простирающихся от античности до наших дней, скажут о силе и смелости его мысли, о его покоряющем и захватывающем умении вести разговор с читателем о самых сложных явлениях искусства.

Мне же хочется сказать несколько слов о Науме Яковлевиче — человеке, с которым мне посчастливилось общаться лично, беседовать, спорить, слушать его вдохновенные и раскованные речи-монологи.

Огромная это тема — Берковский-человек. Редкой он был красоты и обаяния. Человек, я бы сказал, из породы тех, которых рождал Ренессанс. Впрочем, что же удивляться этому: ведь и он был замешен на крутых дрожжах крутой эпохи.

Самое важное, самое определяющее в личности Наума Яковлевича, на мой взгляд, была его духовность, духовность самой высокой концентрации, его непрестанное внутреннее горение, его спокойная и уверенная сила.

В моем представлении Наум Яковлевич — один из тех немногих, кто в своей жизни познал истинную свободу — свободу духа. В наш век это дается немногим. И не потому ли он был так равнодушен к житейским благам, ко всякого рода чинам и почестям, к повседневной суете, что все оценивал с высоты этих открывшихся ему далей?

В самом деле, разве это не удивительно? Крупнейший ученый, литературовед экстра-класса — и ни малейшего беспокойства по поводу докторского звания. Или — где его авторское честолюбие? В его столе годами лежит книга «Национальное своеобразие русской литературы», книга блистательная, может быть, лучшее из того, что написано на эту тему, и что же? Наум Яковлевич ее не печатает. Или вот еще урок, вот пример, достойный всяческого подражания. Наум Яковлевич был страстный и властный человек, человек-реактор, но какая одновременно широта в его суждениях, во вкусах, какая свобода от всякого рода предрассудков и предвзятостей!

Наума Яковлевича нет с нами. Но его духовный кос-

тер, зажженный пятьдесят лет назад, пылает. И его духовное наследие и сегодня питает нашу культуру, наш дух, наши души.

14 апреля 1976

Я не знал его в молодости и славе. Он безусловно был сложный человек. Я застал его старым. Но какой редкий человек. Он излучал какое-то редкое обаяние. В нем была отрешенность от суетности, которая так захватывает людей нашего времени. Он не гнался за званиями, за почестями, не думал о печатании, не стремился писать по сто статей в год. В нем было дыхание вечности, мудрости, — то, что не исчезает со смертью, что входит в души людей, оставляет свет в людях, поддерживает древо духовное, то невидимое духовное древо человечества, которое не прерывается и не исчезает никогда.

Все мы растим и поливаем духовное древо человечества. Как только кончится эта работа, как перестанем взращивать духовное древо, так человечество погибнет. Берковский был великим садовником в духовном саду человечества...

Истинная его особенность заключалась в том, что он соединил в себе дыхание вечности, духовную свободу, простоту, мудрость и любовь к жизни. Он был язычник и мудрец одновременно.

В результате слияния свободы и жизнелюбия и возник его стиль — та раскованность, видимая антинаучность, которые отличают его писания.

22 сентября 1978

Свободы духа обычно достигают монахи, схимники, — те, кто отрешился от жизни. Берковский любил жизнь во всех ее проявлениях. Дети. Разговоры. Женщины.

Проповедник, просветитель. Знаменитые монологи Берковского (говорил часами). Все это определило его стиль. Простой, раскованный, вне всяких норм традиционного литературоведения (наука ли это? когда читаешь), с весомым живым словом, как сама жизнь, которую он любил, и с накалом проповедническим.

25 сентября 1978

УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ

Еще совсем недавно, каких-нибудь сто с небольшим лет назад, считалось, что предметом серьезного, научного изучения во всей русской словесности может быть лишь ее древняя пора. И не в этом ли одна из причин того, что древнерусская литература стала приложением сил и пытливого ума стольких выдающихся ученых? Но, конечно, в первую очередь вдохновлял сам предмет, грандиозность задачи. Семьсот лет из тысячелетней истории русской литературы — вот какая это глыбища, литература Древней Руси!

Сделано много. Проделана колоссальная работа по собиранию памятников и их изучению — историческому, текстологическому, лингвистическому; заложены основы русской филологической школы, которая, по общему признанию, занимает самое почетное место во всей мировой славистике.

И все же, несмотря на большие достижения в изучении древнерусской литературы, художественные сокровища ее долгое время были доступны лишь узкому кругу специалистов. Иными словами, литература Древней Руси напоминала как бы старинную, зачернелую от веков икону, о великой красоте которой догадывались, могли судить лишь «посвященные». И недаром ее называли «литературой великого молчания».

Ныне она заговорила. Заговорили наши далекие предки, которые в вековечных битвах с «диким полем», с «просвещенным» Западом не только отстояли Русскую Землю, но и создали великое самобытное искусство — искусство слова, живописи, зодчества. Больше того, это искусство стало неотъемлемой частью современной культуры, вошло в духовный багаж, в душу и сердце нашего человека.

Это был подвиг. Подвиг, совершенный советскими учеными, и прежде всего — многолетними трудами и стараниями академика Дмитрия Сергеевича Лихачева.

В коротенькой заметке невозможно даже перечислить все то, что делал Д. Лихачев, — статьи его исчисляются многими сотнями, книги — десятками. Скажу только, что главный принцип, который он положил в основу исследований, — принцип эстетический. То, что было намечено еще в работах прославленного русского ученого прошлого столетия Ф. И. Буслаева, то, что так блистательно было развито в исследованиях советских

ученых — А. С. Орлова, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина, в трудах Д. Лихачева выросло в целостную систему художественного миропонимания Древней Руси, особенностей эстетического изображения действительности, человека.

В результате такого подхода к древнерусской литературе было раз и навсегда покончено с мифом о ее неподвижности и косности, замкнутости и изолированности. В результате такого осмысления литература допетровской Руси предстала как литература живая и животворная, необычайно разнообразная по своим стилям и жанрам, как словесное искусство самой высокой пробы, неповторимой национальной самобытности, развивавшееся по своим — особым — законам и в то же время связанное прочными узами не только с культурой славянских народов, но и с культурой других народов Запада.

Само собой разумеется, что эти важнейшие теоретические выводы, открывшие целую эпоху в отечественной медиевистике, опираются на самое тщательное и вдумчивое изучение отдельных памятников древней письменности. Изучение глобальное, комплексное (в связи с другими видами искусства) — и вот один из самых радостных, самых вдохновляющих результатов: отныне раз и навсегда покончено с домыслами скептиков как чужеземных, так и доморощенных, подвергавших сомнению подлинность святыни нашей — «Слова о полку Игореве».

Литературоведение — и это давно известно — одновременно и наука, и искусство. Я бы сказал даже больше: литературоведение лишь постольку наука, поскольку оно искусство. И Д. Лихачев являет собою редкое и счастливое сочетание ученого и писателя в одном лице.

Да, этот выдающийся ученый, ученый самого широкого дарования (литературовед, историк, лингвист, искусствовед, фольклорист, текстолог) к тому же еще и выдающийся писатель. Книги его нарасхват — попробуйте купите их в магазине! И дело тут не только в том, что в них речь идет о далеком прошлом России, об истоках ее культуры, о легендарных временах нашей родины, к которым такой громадный интерес у сегодняшнего читателя. Дело еще в том, что эти книги написаны рукой мастера.

Читать Д. Лихачева — наслаждение. Его язык, его стиль — это всегда сплав исключительно точного и ем-

кого слова ученого со скупой, но страстной и взрывчатой образностью публициста-патриота. И еще: Д. Лихачев умеет писать на редкость просто и ясно о самых сложных и запутанных вещах, и тут, думается, немалую роль сыграл Петербург-Ленинград, где родился и где живет и работает Д. Лихачев. Этот удивительный город с его ясной и поэтической планировкой, как давно замечено, накладывает особый отпечаток на характер мышления человека, на всю его личность.

Итак, врата в мир сказочной древности открыты. Нашему взору открылось редкое по своей красоте и своеобычности искусство, искусство, в котором книжность самого высокого духовного и нравственного накала впервые встретилась с изустными легендами и преданиями, с могучей стихией народного творчества, пропитанного первобытным язычеством.

И будем благодарны, будем помнить: этим мы во многом обязаны нашему выдающемуся современнику — академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, его школе, его ученикам.

1976

«СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»

Из воспоминаний об Александре Яшине

Я должен, я обязан написать о нем, потому что многие ли еще так знали этого человека, как я?

Но, боже, как тяжело, как трудно писать об Александре Яшине! Неужели оттого, что и сама-то дружба наша была тоже тяжелая и трудная, то вскипавшая шумно и радостно, как весенний ливень, то опять месяцами тлевшая и чадившая дымной головешкой, уцелевшей от большого костра?

Да, мы начали с пламенной дружбы, прямо-таки взаимного обожания, а кончили отчуждением, чуть ли не враждой, через которые, к великой горечи моей, мы не смогли полностью перешагнуть даже в самые последние дни поэта.

1

Нас с Александром Яшиным свели литературные невзгоды. В ноябре 1962 года Яшин опубликовал в «Новом мире» свою знаменитую «Вологодскую свадьбу», а

месяцем позже, в январском номере «Невы» за 1963 год, появилась моя повесть, или, как тогда больше называли ее, очерк «Вокруг да около».

Произведения эти, разные по письму, по содержанию, были продиктованы одним чувством — привлечь внимание к трудным и острым проблемам деревни. Ни малейшего лака. Ни малейшей подсветки. Честный и откровенный разговор о реальной жизни, о наболевших вопросах в развитии сельского хозяйства.

К сожалению, вот эта-то обнаженность далеко не всем пришлась по душе. В печати появились разносные статьи и рецензии, нас стали прорабатывать на разного рода собраниях и совещаниях, и, мало того — на нас напустили еще земляков, от имени которых в газетах были напечатаны так называемые открытые письма, жанр, который в те годы был в немалой моде. Короче, нам с Яшиным было нелегко, и вполне понятно, что мы потянулись друг к другу.

Дело было, кажется, так. Желая хоть как-то поддержать товарища по несчастью, мне в мартовском номере «Звезды» за 1963 год удалось напечатать рецензию на его повесть «Сирота», которая в 1962 году была опубликована в журнале «Москва».

Яшин рецензию заметил и тотчас же откликнулся на нее письмом. Между нами завязалась переписка, а затем — это уже было в августе — Яшин пригласил меня на Вологодчину, в свои родные края, где он в то время жил с женой и младшим сыном.

Я не долго раздумывал. Уж очень хотелось посмотреть на смельчака, накатавшего «Вологодскую свадьбу», а еще незадолго до этого нашумевшего рассказом «Рычаги», — произведением, быть может, не безупречным в художественном отношении, но поразительным по силе разоблачения бездушного бюрократизма (Яшина-поэта в то время я почти не знал).

Должен сказать, что на мою родину попадать нелегко — таежная деревня в четырехстах километрах от ближайшего города, а к Яшину попадать и того труднее. Сперва поездом по Кировской дороге до станции Шарья, потом укачливой поползухой «Аннушкой» до райцентра, бывшего уездного города Никольска, а от Никольска километров тридцать на машине — полями, деревнями, разомлевшими на августовской жаре невеселыми ельниками. Кстати, последний отрезок пути очень поэтично описан Василием Беловым в очерке

«Бобришный угор» и совершенно неподражаемо, предельно просто и лаконично — самим Яшиным:

> Я из тех самых мест,
> Где семь верст до небес,
> И все лесом и лесом.

Блудново, родная яшинская деревня, поначалу меня разочаровала. У нас, на Пинеге, деревни стоят на всхолмьях, на крутых угорах, красных и белых щельях по-нашему, да непременно поблизости от реки, да чтобы просторы и огляды вокруг на целые версты были, а тут, смотрю, небольшая деревенька в низине, в темных дремучих ельниках — ни дать ни взять, заблудилась.

Единственное, что, помню, несколько примирило меня с нею, — это белые разливы высокой, хорошо уродившейся ржи на полях возле Блуднова да зеленая травка-муравка во всю улицу, которая придавала деревне какой-то удивительно сказочный, патриархальный вид.

Дом Яшина, просторный, еще добротный пятистенок с вышкой, с боковой избой-зимницей, очень похожий на наши пинежские постройки, оказался едва ли не самым лучшим домом в деревне, — чувствовалось, что покойный хозяин его, отчим Яшина, был в свое время далеко не последним человеком среди своих земляков.

Самого Яшина дома не было, он жил в своем новом домике на знаменитом ныне Бобришном угоре, на даче, как выразилась его старая мать, и добрейшая, бесхитростная сестра Яшина — Александра, или Саня, как все, и взрослые, и малые, зовут ее в семье Яшиных, хотя у этой Сани к тому времени был уже свой внук, проводила меня за деревню.

— Тут рядом, — сказала она, неопределенно махнув рукой в сторону леса, — все тропкой да тропкой, в саму избу и упрешься.

«Рядом», однако, оказалось мерой северной. Я добрых два километра шлепал болотом, гулом гудевшим от комарья, скакал с одного старого, прогнившего бревешка на другое, и надо ли говорить, что я на все лады клял своего будущего друга. Ведь это же специально придумывать, так не придумать — чтобы в такую болотину да сырь с новым жильем залезть.

А кроме того, во мне все кипело еще из-за встречи, которой он облагодетельствовал меня. Ведь я-то как себе представлял? Едва я вывалюсь из самолета, как

меня тотчас же подхватят его надежные руки, и уж конечно, у меня не будет никаких забот с транспортом. А вместо этого мне пришлось идти на поклон в райком (там, ради справедливости надо сказать, у Яшина была договоренность насчет машины), а сейчас даже тащиться пехом, да по болоту, по этим редким и ненадежным мостовинам, тогда как я после второго ранения на фронте и на твердой-то земле не очень уверенно стою на ногах.

Зато уж когда я выбрался из этого болота да глянул вперед, у меня дух захватило от восторга. Хотя что я увидел особенного? Избу под белоствольными березами. Но какая это была изба! Изба-невеста, изба-солнце! Новехонькая, молодцеватая, сложенная из свежего соснового кругляша, она ослепительно, алмазно сверкала смолой и вся сияла радостью, счастьем. И недаром Яшин так самозабвенно любил ее, недаром из-под его пера вылились эти удивительные строки:

Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным угором.

В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.

Яшины и на этот раз не вышли ко мне навстречу. «Мы ушли в лес. Кричите», — прочитал я в записке, пришпиленной к столику возле избы, к которому чуть ли не вплотную подступал ароматный, с красными листьями земляничник.

Я долго сидел у этого столика, наслаждаясь красотой избы и мягким, убаюкивающим шелестом берез. Потом встал, прошел за избу.

Молодой сосновый бор, жердняк на крестьянском языке, выстланный серебряным ковром беломошника. Вышел на передки избы, и картина, которую я увидел внизу под угором, оказалась еще краше. Широкие разливы зеленых лугов, за лугами лесистая гряда, упирающаяся в синее небо, и оттуда, из-под гряды, весь заросший седым ивняком, выкатывался Юг — река, которую я знал еще со школьных лет и которая тут, под Бобришным угором, вогнувшись подковой, выглядела маленькой неказистой речонкой.

Меж тем время шло, изба от вечернего солнца стала алой, а хозяев все не было и не было. Я начал кричать.

И вот чудо: тотчас же снизу, с луга, совсем-совсем близко от избы, донеслись голоса — радостные, звонкие на вечерней заре.

Первым в угор влетел светлоголовый десятилетний сын Яшина — Миша, потом я увидел Злату Константиновну, хозяйку, сияющую, романтически-восторженную, голубоглазую, с охапкой пестрых цветов, потом, спустя немалое время, в угор поднялся и сам Яшин — бледный, тяжко, открытым ртом дыша, но победно улыбающийся, открыто, по-мальчишески радуясь и встрече, и лесной находке — матерой клюке-палице, на которую он опирался.

Лесная прогулка совершенно вымотала Яшина, и он, все еще запаленно дыша, потянулся к скамейке возле столика.

Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да, пожалуй, не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не сыщешь), тонкие, язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, пронзительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром...

Первое время разговор не клеился и мы больше работали глазами, так и эдак приглядываясь друг к другу, потом Злата Константиновна накрыла на стол (жареные утки, настрелянные самим Яшиным), появился коньячок, и лед тронулся. А каких-нибудь десять-пятнадцать минут спустя мы уже выкладывались друг перед другом сполна.

Разговор, конечно, в первую очередь забурлил вокруг наших литературных дел. Яшин тяжело переживал проработочную бурю, разразившуюся над ним...

Он просто задыхался от бешенства, от своего бессилия. Ведь еще недавно его носили на руках, чуть ли не со звоном встречали и местные власти и земляки, а сейчас все отвернулись, хамство на каждом шагу. Колхоз даже избу достроить отказался, хотя у него с колхозом было специальное трудовое соглашение.

— А за что, собственно, такая немилость? За то, что человек честную вещь написал?..

Но особенное негодование вызывали у него молодые

писатели Вологды, которых он так или иначе всех вывел в люди и которые в трудную минуту предали своего учителя.

— Ну, может, хоть не предали, — попытался я вступиться за вологжан.

— Предали! — зло оборвал меня Яшин.

Потом, чтобы посильнее уязвить меня, вдруг перешел на официальное обращение:

— Вам, дорогой Федор Александрович, можно предаваться благодушию, у вас не семеро по лавкам, да и жена, как мы слышалп, доцентик, а мне надо свой «колхоз» обеспечивать своевременной выдачей на трудодни.

— Ежедневно! — жестко добавил он. — А поступления — какие?

Помолчав, он устало закрыл глаза и сквозь зубы еле слышно процедил:

— Надоело зарабатывать деньги...

— Но сейчас, Саша, когда мы на подножном корму, можно не думать об этом каждую минуту.

— Во-во! — с ухмылкой ответил жене Яшин. — Давай пригоним сюда на грибы да на ягоды весь наш колхоз — это ты хочешь сказать?

— А хорошо бы! — воскликнула, загораясь, Злата Константиновна.

— Сентименты, сентименты, матушка!

Мне стало жаль Злату Константиновну, которая, как мне показалось, просто погасла под суровым взглядом мужа, и я решил перевести разговор на местные красоты, на окрестные леса, которые сейчас чудно горели в красном пламени вечерней зари.

Яшин отрубил:

— Леса здешние, между прочим, в этом году пустые. В них сейчас ничего не растет.

— Ну как же, Саша, — подала опять голос Злата Константиновна. — А грибы? Мы же полкорзины насобирали.

— Во-первых, в этой полкорзине половина гнилых, и их надо немедленно выбросить, а во-вторых, матушка, мы с тобой не в московском салоне, а в деревне. А в деревне десяток обабков, собранных втроем за четыре часа, за грибы не считают.

Я начал расхваливать Бобришный угор — ну, думаю, тут-то уж Яшин подобреет.

Не подобрел. Хмуро, не поднимая глаз от стола, бросил:

— Неплохое место для будущей могилы.

— Ну что за шутки, Александр! — возмутилась Злата Константиновна и стала подзывать с реки сына, который убежал туда почти сразу же после возвращения из леса, как только утолил немного голод, — ведь он был еще ребенок и ему хотелось продемонстрировать гостю свои рыбацкие способности.

Кажется, сам дьявол вселился в Яшина, ибо через какую-то минуту, когда далеко за лесной грядой затихло эхо перекатывающихся голосов, он упрямо сказал:

— Здесь, возле стола, лягу.

Помолчал, исподлобья сверля нас своим бешеным ястребиным глазом, не терпящим возраженья, и уточнил деловито, по-крестьянски очертив рукой полукружье:

— Вот тут, на этом месте, вырыть могилу.

Мы со Златой Константиновной со страхом переглянулись. И тут Яшин, поняв, видимо, что хватил через край, натужно усмехнулся:

— Что, напугал?

В бутылке оставался еще недопитый коньяк. Яшин разлил его по стаканам, медленно выпил, смакуя, как человек, понимающий толк в этом деле, и закусил... таблеткой валидола. Между прочим, второй раз за вечер. Я пошутил:

— Да вы никак, Александр Яковлевич, перешли на пищу будущего? — я имел в виду всякие там фантастические романы, где герои обычно питаются таблетками.

Яшин колюче посмотрел на меня, но ничего не сказал.

Заря за рекой заметно размылась. В зеленоватом небе проклюнулись первые звездочки, туман подступил к самому подножью Бобришного угора, затопив весь луг.

Яшин зябко передернул своими широкими, костистыми плечами, откашлялся — у него была астма — и уже обычным, глуховатым голосом предложил:

— А не пора ли нам, дорогие товарищи, на боковую?

В избу он вошел с клюкой-палицей, с той самой штуковиной, которую принес из леса, и благоговейно поставил ее к переднему простенку под портретом Льва Толстого, своего божества, косматого и даже

страшного в эту минуту, пронзительно глядящего как бы из пламени (вся изба была залита красным светом) и очень похожего на лешего. Да его, кстати, как я позднее услышал, так и называли местные старухи («Изба-то бы на веселом месте, и в самой избе весело, да пошто он лешего-то вместо иконы повесил?»).

В избе с белыми сосновыми стенами, еще не успевшими пожелтеть, было тепло и хорошо пахло прогретым за день деревом, мохом в пазах и полевыми ромашками, стоявшими в консервной стеклянке из-под компота на подоконнике справа от портрета Толстого.

— Вот так и живем, — сказал Яшин совсем запросто. Но тут же съехидничал: — А у вас, поди, целый дворец, Федор Александрович?

— У меня и кола своего нету, а не то что чего другого.

— А знаете, дорогой Федор Александрович, — вдруг сказал Яшин, — мы ведь с вами, чего доброго, еще друзьями станем. Как вы на это смотрите?

Злата Константиновна пламенно, всей душой взмолилась:

— Дай-то господи! Я очень, очень хочу, чтобы вы подружились.

Спать легли на нары, устроенные на козлах возле стены слева от дверей, и накрылись одним большим старым стеганым одеялом, явно принесенным от матери, — я помню по своему детству такие большие семейные одеяла.

Набегавшийся за день Миша уснул мгновенно. К моему немалому удивлению, довольно быстро заснули и хозяева, хотя сон у Яшина был неспокойный и тяжелый. Он постоянно ворочался, стонал и надрывно кашлял.

Ну, а что касается меня, то я и не пытался настраивать себя на сон. На новом месте я вообще трудно засыпаю, а тут столько всяких впечатлений — надо было в них разобраться. А главное — решить, что делать завтра: с утра отчаливать от Яшиных или спустить свой отъезд на тормозах. Я вот так, по горло был сыт Яшиным.

2

Я прожил на Бобришном угоре две недели. И это были незабываемые дни.

Нет, нет, Яшин не стал ангелом на другой день. Ед-

кая насмешка, злость и желчность, резкие перепады в настроении, даже жестокость — все это осталось. И с ним было нелегко — того и гляди, ужалит. А с другой стороны, сколько в этом человеке было доброты, детской доверчивости, истинного бескорыстия и благородства, русской удали и русского озорства!

Существует мнение, что русский национальный характер по своим качествам является характером полярным, характером противоположностей. Так вот, Яшин — ярчайшее подтверждение. И надо ли говорить, что именно особенности яшинского характера во многом предопределили исповедальный характер его зрелого творчества, его совестливость и самосуд, не знающий никакой пощады к себе?

Но вернемся к Бобришному угору.

Яшин за ночь, видимо, неплохо отдохнул, и наутро его трудно было узнать. Ничего от вчерашнего брюзжанья и раздражительности. Деятельность, лихорадочная деятельность и яшинская жадность к жизни.

За один день мы порыбалили на реке, сходили в лес, погоняли уток в озеринах и старых речищах, которых немало на тамошних лугах. Право распоряжаться хозяйским ружьем было великодушно предоставлено мне, и я не буду скрывать: оскандалился — вернулся домой без пера. Но Яшин на этот раз не ехидничал.

Да, по правде сказать, и некогда было ехидничать. По плану мы должны были быть в гостях у его сводной сестры, а она жила неблизко — в другой деревне.

С этого вечера началась гостьба, растянувшаяся чуть ли не на неделю. Причем гостьба, какую мог придумать только Яшин. По героям его повести «Вологодская свадьба».

Большинство этих героев были близкими или дальними родственниками Яшина, и объезд их по деревенским понятиям был делом нормальным.

Но что меня всякий раз коробило? Яшин, нимало не стесняясь их присутствия, начинал вслух просвещать меня, кто из них какую роль играет в повести, давая при этом далеко не всегда лестные характеристики.

Некоторых «прототипов», особенно поддавших мужиков, это забавляло, и они еще сами подкидывали подробности, упущенные автором при описании свадебного обряда.

Другие, как сестра Яшина Мария и ее однорукий, но работящий муж, вежливо отмалчивались, и только

когда Яшин уж слишком яростно, что называется по-яшински, начинал воспитывать своего шурина, который и одной рукой неплохо молотил свою покорную жену, тот, виновато улыбаясь, вставал и выходил из избы.

Но бывало и не так гладко. Раз приехали мы на льнозавод, где жили главные герои «Вологодской свадьбы» — племянница Яшина Галя, та самая Галя, которая пригласила его на свадьбу, и обожаемый ею жених, теперь уже муж, долговязый Петр Петрович.

Яшин на крыльце дома меня предупреждает:

— Наберитесь терпенья, дорогой Федор Александрович. Тут подольше придется задержаться: главные герои!

А у этих главных героев мы и полчаса не пробыли.

Сухо, неприязненно встретили. Как чужих. Даже чашки чая не предложили, что по деревенским обычаям равнозначно чуть ли не оскорблению.

Яшин был убит совершенно. И когда мы вышли на улицу, он только руками развел:

— Ничего, ничего не понимаю. За что они меня так? Что я сделал им плохого? Да я в трубу вылетел из-за ихней свадьбы!

— Бывает, — сказал я и в душе подивился яшинской наивности.

А как? «Прославил» своих земляков на весь свет и еще хочет, чтобы его благодарили. Да для иного деревенского жителя всякая популярность, выделяющая его из общей массы, просто невыносима. Я помню, как однажды моего племянника, тогда еще подростка, отличившегося на сенокосе, приехали фотографировать для районной газеты. Так что он сделал? Убежал из дому...

— Чертов народ! — вскипел вдруг Яшин. — Ты для него — все, жизнь готов отдать, а он первый же тебя копытом! Неужели это и у других народов так?

И тут начался у нас нервный и болезненный для обоих разговор о земляках, о взаимоотношениях писателя с земляками, которые, увы, далеко не всегда поддерживают его в борьбе за правое дело.

Кончился этот день взрывом, разоблачительными речами Яшина, которые были так хорошо знакомы близко знавшим его. Причем что удивительно? Жертвой их стал один работник райкома, давний его товарищ, который искренне любил его и помогал ему, чем мог. Но таков уж был Яшин: на близком-то человеке он нередко и отсыпался.

— Заелись, забурели, сволочи... До чего народ довели... Не вороти, не вороти рыло-то, правду говорю... — И т. д. И т. п. Горный обвал, кипящий водопад!

Мне, не знавшему тогда этой слабости за Яшиным, было дико все это слышать, но хозяин и не думал сердиться на гостя. И это еще больше выводило из себя Яшина.

В разъездах по гостям, по знакомым и близким мы провели, как я уже говорил, чуть ли не неделю. А потом как-то встретили на одной из улиц Никольска Вадима Каплина, молодого сотрудника районной газеты, влюбленного в Яшина, и нас захватила страсть — медвежья охота.

Дело в том, что этот самый Вадим Каплин, такой же пылкий романтик и патриот своего края, как Яшин, в прошлом году убил на овсах медведя (его в городе так и звали теперь Вадим-медвежатник), и, когда мы закатились к нему домой, он прежде всего продемонстрировал нам медвежью шкуру, живописно раскинутую на полу гостиной.

И это решило все. Яшин с той минуты, как увидел эту медвежью шкуру, уже и думать ни о чем не мог. Да и я загорелся: у нас, на Пинеге, слыхом не слыхали о медвежьей охоте на овсах. И как же упустить подвернувшийся случай?

Сборы были, как всё у Яшина, скоропалительными. Не прошло и двух часов после нашей встречи с Каплиным, как мы уже тряслись в его драндулете.

Драндулет этот только с величайшей натяжкой можно было назвать машиной. Он был собран из немыслимого разнокалиберного старья, так что даже знаменитая «Антилопа Гну» по сравнению с ним казалась верхом технического совершенства, и я не сомневался, что он рассыплется еще на улицах Никольска. Но Каплин, великий оптимист, был уверен в своем козлике (так он любовно называл своего рысака). И вот мы благополучно, правда под насмешливые и удивленные взгляды уличных зевак, миновали город, въехали в лес, а драндулет, то и дело чихая и извергая целые тучи вонючего смрада, все тянул и тянул. И так без особых приключений мы добрались до одной деревни (кажется, она называлась Широкое), а оттуда вместе с местным учителем-стариком уже пешком отправились на лесной починок.

Я не буду вдаваться в подробности, связанные с нашей длинной и нелегкой дорогой, большей частью пролегавшей через комариное сыролесье, дорогой, напрочь размолотой тракторами и машинами. Не буду также говорить и о своем крайнем удивлении, когда мы вошли в поля. На добрых полкилометра овсы в одну сторону, в другую, а за овсами, на пригорке у леса, освещенные вечерним солнцем крыши домов (штук пять я насчитал) — да какие тут могут быть медведи! Или на Вологодчине и медведи особые?

Каплин не стал сорить словами, а взял меня за руку, завел в овес и молча ткнул рукой в землю. Огромная куча медвежьего помета, и довольно свежего, сплошь покрытая толстым слоем шевелящейся мошкары.

Дальше признаков пребывания медведей на полях оказалось еще больше — овсы были сплошь выброжены, а кое-где и скатаны как войлок, и мы притихли.

Медведя, выражаясь словами одного стихотворения Яшина, мы не убили, хотя все было: было сиденье на вечерней заре на лабазах, ерундовых дощечках, кое-как прикрученных проволокой к стволам осин и берез кем-то из наших предшественников, было кормление комаров (зажрали, сволочи!), было терпение. Одного не было — веры, веры в то, что выйдет медведь. Потому что ведь где охотимся? В деревне!

Каплина и старого учителя это не удивляло, они здесь бывали раньше, а мы с Яшиным были потрясены. В сущности, мы впервые вот так вплотную столкнулись с тем, что позднее, через десять лет, будет названо второй целиной, русским Нечерноземьем.

Уже ночью в полной темноте и тумане, по пояс мокрые (нам таки немало пришлось побродить в отсыревших овсах), мы вышли наконец к нежилым, заброшенным домам, разожгли костер, и, помню, Яшин долго и онемело стоял, вглядываясь в высветленные огнем бревенчатые стены с черными провалами выбитых окон, и слезы текли по его рыжим небритым щекам.

3

Наша дружба продолжалась без мала четыре года. Были письма, были встречи, были разговоры и споры о жизни, о литературе и, конечно же, о нашей матери — деревне.

Яшину легко давалась переписка. В своих письмах он запросто, без всякой натуги и со свойственной ему откровенностью посвящал меня в свои повседневные дела и быт, очень неустроенный, материально не обеспеченный, делился замыслами литературных произведений, главным образом прозаических,— а их у него, этих замыслов, была уйма, и часто присылал свои новые, еще не напечатанные стихотворения, требуя честного и нелицеприятного отзыва.

К стыду моему, я не всегда оказывался на высоте. Некоторые стихи мне определенно не нравились своей излишней прямолинейностью и притчевой назидательностью, но сказать об этом прямо у меня не хватало духу, и появлялась уклончивость и витиеватость, которая раздражала нас обоих.

Яшин же, когда дело касалось искусства слова, не делал ни малейшей скидки ни на приятельские отношения, ни на авторитеты. Тут он был беспощаден и неподкупен. Помню, послал я ему четыре рассказа, над которыми работал чуть ли не целый год. Принял он безоговорочно только один — «Медвежью охоту», или «Дела российские», как теперь он называется. Что же касается трех других, кстати сказать, тогда же напечатанных в одном журнале, то он их просто отверг как вещи малохудожественные.

Вообще нужно сказать, что письма к Яшину мне давались не без мозолей, и тут, возможно, известную роль сыграла неопределенность наших отношений — мы долго обращались друг к другу то на вы, то на ты.

Встречались мы нечасто, главным образом в Москве, куда я изредка наезжал. Яшина в то время не без скрипа, но в некоторых журналах все же печатали, по крайней мере его стихи. И он, как товарищ и друг, все делал, чтобы поскорее была снята епитимья за «Вокруг да около» и с меня. Он знакомил меня с московскими литераторами, при этом всякий раз расхваливал меня как писателя, водил в редакции некоторых журналов и издательств, и наконец благодаря его стараниям в июне 1964 года меня пригласили в Краснодар на выездной пленум Союза писателей РСФСР по вопросам литературы и сельского хозяйства.

Краснодарская общественность встретила меня неприязненно — разносной статьей в областной газете: «На Краснодарской земле нет и не может быть места

для «Вокруг да около». И, помню, Яшин просто клокотал по поводу этой западни (он так и выразился в разговоре с одним руководящим товарищем), а потом вдруг махнул рукой:

— Да бросьте вы переживать из-за этой хреновины! Надо гоголем ходить, а мы напишем правду и чуть ли не у каждого мерзавца просим прощения. Пойдемте, лучше я вас познакомлю с Василием Беловым.

Я озадаченно заводил глазами.

Яшин вознегодовал:

— Как? Вы Василия Белова не знаете? Да он один стоит всего нынешнего совещания! Ей-богу! — И тут он с жаром, прямо-таки взахлеб стал рассказывать про своего молодого земляка из Вологды, звезда которого еще только-только начинала всходить.

Вскоре мы уже втроем сидели в ресторане гостиницы, и тут вдруг выяснилось, что я Василия Белова знаю. Во-первых, запомнилось его письмо по поводу моего первого романа «Братья и сестры», который они читали всей семьей и в котором увидели самих себя, свою безотцовщину, а во-вторых,— бывает же такое! — в первом номере «Невы» за 1963 год, в том самом номере, где напечатана моя злополучная повесть «Вокруг да около», напечатан был и рассказ Василия Белова «Люба-Любушка». Кстати сказать, по поводу этого рассказа Белов прислал мне письмо и просил высказать свое мнение.

Я прочитал рассказ. И, увы, он не показался мне из ряда вон выходящим. Мягко, лирично написан. Хороши пейзажи. А в целом довольно традиционен и даже пересахарен, что у меня в те годы вызывало самый решительный протест. Короче, в то время я скорее голову бы дал на отсечение, чем поверил бы, что автор «Любушки» через каких-то пять лет напишет «Привычное дело», повесть, которая сразу же станет славой и гордостью нашей литературы. А вот Яшин сумел разглядеть в Белове талантливого прозаика, когда тот еще писал стихи.

Совещание «деревенщиков» в Краснодаре прошло не без пользы. По крайней мере, благодаря ему многие из нас, и в том числе я, сумели побывать в кубанских колхозах, которые по своей экономике, по оплате труда колхозников так разительно отличались от колхозов средней и северной России, что некоторые ораторы в

своих выступлениях уже не называли иначе Кубань как землей, где воочию «взошло солнце коммунизма».

Как я уже говорил, характер у Яшина был совсем не идеальный. Да и у меня, прямо скажем, не сахарный. И искры от нас начали сыпаться чуть ли не с первого дня. Дело дошло даже до того, что в день моего отъезда из Никольска Яшин не поехал провожать меня на аэродром. Это своего-то гостя, первого, как не раз провозглашалось, друга! Правда, минут за десять до вылета самолета он все же, весь взмыленный и с покаянным видом, примчался на аэродром, и мир был немедленно восстановлен. Но бывали сшибки и более затяжного порядка. Ну, а настоящая гроза меж нами разразилась году в шестьдесят пятом, когда однажды Яшин приехал ко мне в Ленинград с ответным визитом, а заодно и по делу: не удастся ли тут, в Ленинграде, хоть как-то поправить свои финансовые дела — запродать какому-либо журналу новый рассказ или стихи.

По поводу такого события я, можно сказать, разработал целую программу, и коронным номером этой программы должен был стать роскошный обед у моего приятеля, жена которого была непревзойденным кулинаром.

И вот я, заранее одетый в парадный костюм, с праздничным настроем в душе, сижу дома и жду Яшина, с тем чтобы в два часа, как было условлено, отправиться вместе на обед. Наступает два часа — Яшина нет, наступает полтретьего, три — Яшина все нет. Я в отчаянии — случилось что-нибудь?

Приятель, вполне понятно, тоже нервничает: обед перестаивается. И вообще высказывает всякие догадки: дескать, транспортабельны ли вы? Может, мне самому подъехать за вами?

Наконец в полчетвертого звонок от Яшина:

— Не жди на обед. Не приду.

— Как не придешь? — с трудом выговариваю я.

— Понимаешь, встретил одну землячку, с которой давно хочу выяснить отношения...— И знакомый, хрипловатый смешок.

— В таком случае,— взрываюсь я,— я больше знать тебя не знаю! — И с размаху бросаю трубку.

Позже, конечно, я не раз казнил себя за свою безрассудную вспыльчивость (сколько раз она меня в жизни подводила!), да и у Яшина-то, как потом оказалось, была самая безобидная, действительно неотложная встреча, но с этой поры мы надолго закусили удила.

Нас пытались помирить знакомые, наши жены. Между прочим, моя жена и тогда считала и до сих пор считает, что ссора у нас вышла... из-за ножа, который я подарил Яшину. Дело в том, что на Яшина, человека, всегда чем-либо увлеченного, в то время напала очередная страсть, или, как говорила Злата Константиновна, «новая болезнь» — коллекционирование холодного оружия. Мне, например, он писал: «Собираю всякое холодное оружие от сапожных и даже перочинных ножей до сабель, шпаг, пик и т. д. Если у Вас есть что-то, подарите мне, ради Христа».

Я послал ему довольно любопытный, с секретом нож-складень, выкованный вятскими мастерами. И вот этот-то нож, если верить народной примете, которую мне напомнила жена, и развел нас с Яшиным. Как бы то ни было, но после того как я под каким-то предлогом сумел обратно забрать этот разнесчастный нож, в отношениях между нами и вправду стали появляться просветы.

Тому способствовали немало и жизненные обстоятельства. У Яшина трагически погиб старший сын-юноша, и мог ли я не принять это страшное горе в свое сердце? С другой стороны, в июле 1966 года случилось несчастье со мной в Архангельске (микроинфаркт), и вот уже Яшин готов всем пожертвовать ради меня: «Только отзовитесь, поманите пальцем — и я приеду, чтобы посидеть около Вас».

Но... это были все же отдельные порывы, благородные порывы, идущие больше от благодарности к прошлому, но самого этого прошлого вернуть уже было нельзя.

4

— А ты знаешь, что Яшин безнадежен?

— ???

— Да, третью операцию недавно перенес.

Ныне, услышав что-либо в этом роде, я бы немедля, в тот же день бросился в Москву. А тогда, в июле шестьдесят восьмого, помнится, прошло дней пять, прежде чем я решился на поездку. Потому что очень уж страшно было мне, здоровому человеку, вдруг явиться к умирающему другу, пусть и другу в прошлом.

Палата, в которой лежал Яшин, была просторная, вся в солнце, в цветах, и потому особенно тяжело было

увидеть его неподвижным, словно распятым на узкой больничной койке, стоявшей посреди палаты.

Избегая глядеть на больного, мы с Александром Михайловым — у меня так и не хватило духу заявиться одному — пролепетали какие-то слова приветствия и смущенно присели на краешек табуреток возле дверей.

Яшин молчал.

Злата Константиновна, уже сколько недель неотлучно жившая при нем в больнице, с преувеличенной живостью начала было рассказывать о подарке земляков — маленькой сосенке с Бобришного угора, присланной в глиняном горшке с родной землей, но Яшин с укором посмотрел на жену, и в палате опять наступило тягостное молчание.

Выручила, как всегда, литература-матушка: Михайлов решил познакомить Яшина с наиболее интересными публикациями в последних номерах журналов, однако Яшин и к этому остался безучастен.

— А роман-то Федора Александровича читали? — вдруг спросил Михайлов.

Я весь внутренне вздрогнул: что-то сейчас скажет Яшин о моих «Двух зимах и трех летах»? Ведь роман был напечатан в первых номерах «Нового мира» за этот год, когда он еще был относительно здоров, и едва ли он не проявил к нему никакого интереса.

Яшин не ответил. И только когда разговор зашел о Василии Белове, его духовном сыне, глаза его, очень строгие, отрешенные, чем-то напоминавшие глаза святых с фресок Феофана Грека, на какое-то мгновение, мне показалось, посветлели.

Приободренные этим проявлением жизни, мы с Михайловым вспомнили о бутылке шампанского, купленной по дороге, и быстро, но бесшумно раскупорили. Отпив шампанского, Яшин попросил у жены специально сваренную для него картошку в мундире.

Бледными-бледными руками он сам очистил картошку, посыпал солью и, по-крестьянски поддерживая у подбородка сложенную ковшиком руку, начал медленно жевать. Скоро, однако, он отложил картошину:

— Деревянная какая-то... Уже и картофельного вкуса не ощущаю...

Яшина всегда, сколько я помню, отличала повышенная чистоплотность, и тут он не изменил своей привычке: тщательно вытер платком рот, затем начал было подправлять свои рыжие, за время болезни заметно поредевшие

усы и, не закончив этого занятия, погрузился, надо полагать, в свой новый, открывшийся ему в дни болезни, мир...

Я не помню, как мы прощались с Яшиным. Помню только, что у меня было большое чувство вины перед ним, чувство вины живого человека перед умирающим, и что мне очень хотелось по русскому обычаю попросить у него прощения.

Александр Яшин умер пятидесяти пяти лет, в расцвете духовных сил, своего яркого дарования.

Одна за другой выходили книги его стихов, и каких стихов! Неповторимо самобытных, яшинских, то обжигающих своей раскаленной гражданственностью и исповедальностью, то необычайно душевных и сердечных, раскрывающих самые сокровенные тайны природы, лесного царства. А сколько осталось неосуществленных замыслов в прозе, где он за короткое время утвердил себя одним из крупнейших и многообещающих писателей.

Его кабинет напоминал мастерскую столяра, заваленную всевозможными заготовками. Будущие романы, будущие повести, будущие рассказы и очерки... Одни — лишь болванки, по которым прошелся только топор, другие знакомы уже были с рубанком и стамеской, а над третьими даже потрудился царь столярных инструментов — фуганок.

Природа наделила Яшина могучим организмом. Но жизненные перегрузки: война, ленинградская блокада, откуда его вывезли полуживого, мучительные и затянувшиеся поиски себя как художника, трагическая смерть сына-юноши, хроническое безденежье последних лет — не слишком ли много всего этого для одного человека? А яшинская неуравновешенность и неистовость, его постоянные метания — разве эти свойства его натуры не надорвали душу?

Но и то сказать: живи Яшин вне бурь и страстей своего времени, веди он размеренный и уравновешенный образ жизни, — словом, не гори каждодневно на огне, как он сам писал о себе, разве был бы он тем, что есть? Разве сегодня в нашей литературе пылал бы его костер?

Яшина похоронили на его любимом Бобришном угоре, которому суждено было стать поэтическим образом всего его творчества.

1982

ДЕРЕВЕНЬКУ ЗОВУТ ТИМОНИХА

1

Никогда не забуду, как началась наша дружба.

В начале 1963 года, в февральском номере «Невы», была напечатана моя повесть, или очерк, как тогда больше говорили, «Вокруг да около», произведение по тем временам довольно острое, поднимавшее ряд наболевших вопросов в жизни нашей деревни и потому сразу же вызвавшее «проработочную бурю» (выражение А. Яшина) — разносные статьи, рецензии, даже так называемое открытое письмо земляков.

Но были, конечно, голоса и в защиту автора. Были письма, ободряющие, полные признательности за честный и правдивый разговор. И одним из таких писем, едва ли не первым, было письмо Василия Белова, тогдашнего студента Литературного института.

Памятным для меня в этом письме было и то, что, оказывается, они, Беловы, еще раньше всей семьей читали мой первый роман «Братья и сестры». «Моя мать и мои братья и сестры, — писал Белов, — это Ваши «Братья и сестры», вологодские крестьяне».

А кончалось письмо сообщением, что в той же второй книжке «Невы» за 1963 год, где опубликовано «Вокруг да около», напечатан и рассказ самого Белова, или рассказишко, как выразился он сам, со свойственной северянам скромностью.

Разумеется, я тотчас же прочитал «Любу-Любушку» — так назывался беловский рассказ. Написан рассказ был тонко, лирично, очень профессионально, но, может быть, несколько традиционно, без выворачивания всех потрохов деревенского бытия, а я тогда превыше всего в литературе ставил «голую» правду жизни.

Не помню, что я ответил своему корреспонденту, но с тех пор между нами завязалась переписка, а спустя года два с лишним, не без усилий нашего общего друга Александра Яшина, мы и встретились.

Встретились в Краснодаре на выездном пленуме Союза писателей РСФСР, где обсуждался вопрос о литературе и деревне.

Помню, Александр Яшин, первым разглядевший в Белове будущую звезду нашей прозы, был без ума от своего молодого земляка, он даже и называл-то его не иначе как Василий Иванович, а я, глядя на этого самого

Василия Ивановича, на редкость моложавого, тогда еще гололицего, без нынешней, всем известной бороды, очень стеснительного, с камешком-картавинкой во рту, одним словом, выглядевшего сущим мальчишкой, не мог побороть улыбки, и Яшин, помню, очень злился на меня, просто выходил из себя.

Нет, нет, оригинальность Василия Белова я оценил сразу: у кого еще в мире такие глаза — широко распахнутые, младенчески простодушные и в то же время скорбные, налитые тревогой и болью за все живое на Земле.

Но врать не стану: не мне дано было провидеть его литературное будущее, хотя в письмах ко мне он не раз с увлечением говорил о работе над Иваном Африкановичем, а одну из глав «Привычного дела» — «Рогулина жизнь» — он даже писал у меня на глазах (в Доме писателя в Комарово) и даже читал мне, но, повторяю, я не сразу поверил в большое будущее молодого прозаика.

Понял я, что такое Белов, оценил сполна его дарование лишь после того, как целиком, еще в черновике, прочитал «Привычное дело».

2

Не знаю, под каким названием и под чьим именем войдет в историю литературы 1967 год, а для меня это год «Привычного дела», год Василия Белова.

Такого на моем веку, пожалуй, еще не было.

Студенты, школьники, старики — все бегали по библиотекам, по читальням, все охотились за номером малоизвестного дотоле журнала «Север» с повестью еще менее известного автора, а раздобыв, читали в очередь, а то и скопом, днем, ночью — без передыху. А сколько было разговоров, восторгов в те месяцы!

Покойный Георгий Георгиевич Радов, встретив меня в Малеевке, в писательском доме, о чем вострубил первым делом?

— Старик, в России новый классик родился!

Было удивительно и другое. «Привычное дело» приняли все: и «либералы», и «консерваторы», и «новаторы» и традиционалисты, и «лирики» и «физики», и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в самой жизни.

Что же произошло?

Был когда-то в деревне хороший обычай — на пасху мыть избу «с потолком и стенами». То есть выгребали, вываливали всю грязь, всю копоть, скопившуюся за зиму, — от лучины, от лампешки, от пряжи и тканья, а заодно выставляли и зимние рамы. И вот изба преображалась на глазах: она молодела, в ней оживали выветрившиеся запахи дерева и даже на какое-то время поселялось само лето: в ночь на пасху вместо постели на полу расстилали духмяную солому.

Василий Белов своим дивным искусством обновил и освежил привычный мир в литературе, что, впрочем, делает каждый большой художник. Никаких словесных штампов, словесной шелухи, никаких затасканных выражений. Он нашел новые слова, новые краски, новую музыку фразы, и старый, с детства всем знакомый мир на страницах его повести засверкал по-новому, радужно, первозданно.

По какой-то нелепости издревле принято считать, что Север беднее красками Юга. Василий Белов своими бесподобными пейзажами доказал, что дело обстоит как раз наоборот.

Задал Белов загадку немалую и своим Иваном Африкановичем, главным героем повести. Сколько уж прошло времени со дня его появления в литературе? — пятнадцать лет. А споры вокруг него все еще не утихают. Кто он такой, этот Иван Африканыч? Положительное явление нашей жизни? А почему бы и нет. Всю войну на передовой, сама доброта и честность, бессменный работяга в колхозе и худо-бедно семейную ладью ведет... А с другой стороны, кто выпивоха, кто в загуле способен забыть про все на свете — и про ребятню свою, и про жену, которая из последних сил выбивается, таща на себе непосильный воз? И в конечном счете разве не Иван Африканович, который очаровал нас своей добротой и нравственной чистотой, разве не он является одним из главных виновников гибели своей жены?

Сложно, сложно замешен Иван Африканович, так что не сразу и скажешь, по какому разряду его зачислить, но вот что несомненно: образ Ивана Африкановича рожден из самых глубин нашей сложной национальной и социальной стихии, так что в нем отгадка и силы нашей да одновременно отгадка и слабости нашей, тех несообразностей, которых, увы, нам не занимать.

3

Пушкин — Михайловское, Лев Толстой — Ясная Поляна, Тургенев — Спасское-Лутовиново... А что за земля, взрастившая Белова?

Тимониха, лесная деревенька на Вологодчине.

Признаюсь, я не скоро привык к этому названию,— уж очень простоватым и бесхитростным показалось оно мне. А с другой стороны, разве не бесхитростностью, разве не простотой пленяет нас беловское письмо?

До родного гнезда Белова надо добираться из Вологды чуть ли не день. Сперва «железкой» до районного городка Харовская — это для меня, северянина, маршрут привычный, а от Харовской — старинным Кадниковским трактом, названным так по имени бывшего уезда.

Для местного жителя лесной многоверстный тракт этот овеян дорогими сердцу легендами и преданиями: сколько ведь тут за века прошло-проехало всякого народушку, и своего, и пришлого, а для меня, чужого человека, прежде всего это дорога Василия Белова. Дорога, которую он топтал с малых лет.

А топтал он ее немало, и все больше босиком да на голодное брюхо (ну-ка, у матери пятеро мал мала меньше ребятишек и отец на войне убит). И станции для меня на той дороге — это где да когда что было с Василием Беловым.

Ловко, я бы сказал, даже с шиком выворачивая баранку своего четырехколесного «вездехода» под брезентовой крышей, Белов рассказывает:

— Вот здесь я десятилетним ребятенком плакал. Целую ночь боронил, бригадир пообещал хлеба и обманул...

— А вот тут ранней весной, еще снег не весь сошел, я с лужей состязался. Версты две босиком брел. Ходил в одну деревню тряпки на хлеб менять да заодно и сапожонки променял: баба обзарилась, без сапог и разговаривать не хочет... Дома две недели подряд баню топили, чтобы ноги направить.

— А вот это, — тут уж Белов улыбается, — паспортный мостик. Ходил за паспортом в район, а обратно и ноги не несут. Крошки хлеба с утра во рту не было. Ладно. Лег на мостик и давай паспорт изучать: авось какая-нибудь попутка подберет. Долгонько, до самого вечера изучал паспорт...

— Ну, а это лесной бар радости, — Белов своим голубиным прищуренным глазом кивает на матерое, довольно еще крепкое бревно (должно быть, лиственничное), что лежит на обочине. — Тут, когда в армию шли с ребятами, «малыша» давили.

Солнце было еще высоконько, когда мы спустились в долину зеленых холмов. Холмы невысокие, веселые, ярко раскрашенные первой весенней травкой, и на каждом холме деревенька. И все — на «ха»: Тимониха, Вахруниха, Лобаниха... Стоят, смотрят друг на дружку, как родные сестры.

— А реки́-то вам что, бог не дал?

— Как не дал? — У Белова от возмущения глаза обручем. — А наша Сохта не река? — И вслед за тем указывает на ручей, петляющий посреди долины. — Раньше на ней знаешь сколько мельниц стояло? А рыба-то! А вода-то какая...

Я с трудом сдерживаю улыбку. Потому что для меня, уроженца Архангелогородчины, разве это река?

А с другой стороны, и то сказать: прославленная на весь мир Воронка в Ясной Поляне — так ли уж ей по своим речным «статям» уступает Сохта?

Зато постройки на родине Белова мне понравились: сразу видно, что ты в краю потомственных плотников, когда-то доходивших с топором до самого Питера, — дома высокие, крепкие, окна большие, на городской манер. Только что бросается в глаза сразу? Ни одного нового дома на всю волость.

— Патриоты у тебя земляки, — снова не без подкуса замечаю я.

У Белова от боли перекашивается лицо — на самую больную мозоль наступили, потом, немного успокоившись, роняет:

— В мои годы знаешь сколько в нашей школе училось? — сто ребят. А теперь шесть, да и тех с будущего года в Харовскую переводят, в интернат. Подумать только, до какого прогресса дожили! На моей родине школы не будет...

У беловского дома нас по старинке встречали. Встречала мать Белова, Анфиса Ивановна, выбежавшая из до́му на шум подъехавшего «газика» — босиком, без платка, совсем-совсем по-деревенски.

— Ну, чего с дороги первым делом? — спросила Анфиса Ивановна. — Пыль сдувать да брюхо ублажать?

— А если можно, то я бы первым делом хотел дом посмотреть.

Анфиса Ивановна всплеснула руками:

— Ну, ты как наш дед Михайло. Тот, бывало, куда ни приедет, первое слово: дом показывайте. Выспрашивать про хозяев — кто такие да как живете — долго. Беда дорожил временем. А тут раз-раз, и все видно, какого роду-племени люди.

Дом меня покорил. Хорош мастер был Михаил Григорьевич Коклюшкин. Все уделано добротно, крепко, со вкусом, фронтон украшен резьбой. А уж по размерам своим дом — богатырь. Две просторных избы спереди, светлица, клеть, подвал, поветь...

— Дом-то еще больше был, — говорит Анфиса Ивановна, — сарай на повети убрали. Дедушка в последние годы старенький, ветхий был, путать все начал. Все кричал: «Помогите выйти».

4

Благословенна неделя, прожитая в Тимонихе!

Утром я вставал часу в восьмом, когда внизу начинала ходить и греметь железным кольцом в воротах Анфиса Ивановна (я спал в светлице, рядом с поветью), бежал по росяной тропинке вниз к речке, купался в заранее облюбованной ямке, потом с часик жарился на утреннем солнышке, вольготно растянувшись на травянистом бережку, или рассматривал в речке рыбешку — полосатых окуньков и красноперых плотичек, тоже принимавших своеобразный утренний моцион, а затем той же тропинкой, но уже совершенно обсохшей, возвращался к Беловым.

Василий Иванович к тому времени был уже на ногах (сон меньше девяти часов он не признавал), мы наскоро завтракали, одновременно выслушивая от Анфисы Ивановны последние известия, и — за деревенскую работу, по которой и сказать нельзя как оба истосковались в городе. Жадно набрасывались на дрова, перекапывали грядки на задах, «браконьерничали» понемногу старой сетешкой в лесном озере (надо же чем-то кормиться), убирали двор.

У самого Белова было еще одно занятие — «газик». Ах, с каким удовольствием он, разостлав домашний половичок, залезал под машину, постукивал ключом, мо-

лотком, а потом, выбравшись, неторопливо, по-крестьянски, вытирал руки тряпкой или паклей.

Страсть к железу, к машинам у Белова с детства. Бывало, еще ребятенком он пропадал возле веялки и сортировки, а когда в колхозе появился первый трактор, он, по словам матери, и вовсе потерял голову.

О деревенских ремеслах я не говорю — тут Белов академик, иначе мы не имели бы «Лада», этой энциклопедии старой крестьянской жизни. Но особенно Белову, потомственному плотнику, открыта душа дерева — тут он поэт в каждом слове, потому-то и суждено ему было написать бесподобные «Плотницкие рассказы».

Нашлось у нас с Беловым в эти дни и еще одно дело, которое захватило нас целиком,— баня. Три раза за неделю мы топили баню — ну, не сумасшествие ли? Но, боже, с чем сравнить банные радости?

Впрочем, это, я думаю, понятно только настоящему северянину, где с незапамятных времен существует культ бани. Все нам с Беловым нравилось: нравилось таскать ведрами воду из речки (далеконько, правда, чуть ли не за полкилометра), нравилось разжигать дрова в каменке, нравилось хлебнуть первого банного дымка... А какое это удовольствие — попариться на раскаленном полку березовым веничком, да выбраться потом в сенцы, да, прикрывшись старенькой продымленной дверцей со стороны деревни (баня стоит в поле), присесть на скамейку, а еще лучше на щелястый изрубленный порожек, да всем распаренным телом вдыхать в себя ароматы первой зеленой травки, первой распустившейся черемухи...

Нам хорошо говорилось тут, в стороне от деревенской сутолоки, — недаром, шутят финны, их правительство все важные решения принимает в сауне. И, помню, однажды Белов изложил даже «банный» метод своего творчества:

— Я каждое время года баней меряю. То есть все через баню: и осень, и зиму, и весну, и лето. Стоит мне только представить, как я выхожу из бани, и я с особенной силой, прямо-таки физически начинаю чувствовать и запах травы, и запах земли, и запах дождя и воды. И небо и снег вижу иначе.

Подумал и добавил:

— Я, между прочим, так всегда и делаю, когда пишу пейзаж или человека: воображаю себя вышедшим из бани, и тогда сразу спадает с вещей вся пыль и короста повседневности.

5

Вологодская земля — суглинки да супеси — не очень хлебородна. Потому-то кадниковцы, как я уже отмечал, испокон века занимались отхожим промыслом — плотничеством.

Но вот хорошо родит вологодская земля — слово. В прошлом тут, в заповедном крае русской народной культуры, запросто жили и былина, и историческая песня, и скоморошина, и свадебная песня, сопровождавшая брачный пир чуть ли не в течение недели.

Сейчас этих мамонтов народного эпоса не встретишь, они вымерли, безвозвратно ушли в небытие. Захирела сказка, которая кое-как еще держится в старушечьем да ребячьем сердце, даже такая неукротимая и бойкая особа, как частушка, редко ныне подает свой голос. И тем не менее кипит, играет народное слово в беловском краю. Как, впрочем, повсюду, на всех весях и градах наших.

Я жил неделю в Тимонихе — купался в слове.

Каждый день к Беловым заходили гости — старики, старухи, ребятишки (любят Белова земляки), и острое словцо, притча, анекдот, «завирулина», или бухтина, по-местному, так и сыпались, так и сыпались.

— Матрена, чего все молчишь? — спрашивает однажды Белов старуху, которая как села у печи на скамейку, так и не проронила ни единого словечка.

— А я, парень, ночью наговорилась.

— С кем?

— С комарами.

В другой раз старик, порядком засидевшийся у Беловых, спрашивает хозяйку:

— Чего у тебя, Анфиха, лавка-то серой смазана? Прилип — задницу оторвать не могу.

А то опять как-то с вечера похолодало — это всегда бывает в пору цветения черемухи, и вот уж одна старуха, с явным расчетом на игру, замечает:

— Заморозила эта черемуха. Вырубила бы всю к лешему — сразу теплее стало бы.

Большой ли срок неделя? Много ли увидишь за семь дней? А мне кажется, я за это время то в доме у Бело-

вых, то на улице, то возле сельповского магазина, почти в тех или иных вариантах встретился чуть ли не со всеми прототипами героев Белова. Иван Африканович, его шурин Митька, Козонков... Да при желании кого-кого нельзя было вообразить.

Яркий, приметный народец живет на родине Белова: доморощенные поэты и философы (один старик все носится со своим проектом искоренения пьянства на Земле), безунывные забулдыги-выпивохи, великие труженицы-женщины, бессребреники, о каких только в книжках разве что и прочитаешь.

Например, Иван Афанасьевич Неуступов, первоклассный плотник, каких теперь, как говорится, днем с огнем не сыщешь, только в восемьдесят три года обратился в собес насчет пенсии.

— А где же раньше-то вы, дедушка, были? — спрашивают старика.

— А раньше-то я и без пенсии неплохо жил. Руки были. А теперь руки фуганок не держат.

Всматривался я, конечно, и в мелкие побеги. Сережка Агафонов, веснушчатый, рыжеволосый, голубоглазый, горделиво вышедший из магазина в новых ботинках за пять руб. пятьдесят семь коп. — чудо-мальчишка. Так и хотелось заглянуть в будущее: что-то будет с ним? Какое-то деревцо из него вырастет? И где, в какой земле он пустит свои корни? В родной, тимонихинской, или волна нынешнего повального кочевья захватит и его?

Немало, немало всякой всячины повидал я на беловской земле, но, конечно, самое большое диво — Анфиса Ивановна, мать Белова.

В первый день — шумное застолье да знакомство с деревней — я как-то не оценил ее. Невысоконькая, уже порядком стоптавшаяся, вся какая-то теплая, медвяная (конопушками даже руки до локтей усыпаны) — это запомнилось сразу. И еще запомнилась доброта: так и подгребает, так и подгребает тебе все, что повкуснее на столе. А на другой день очарованье с первой минуты.

Утром спускаюсь тихонько, на цыпочках в сени, чтобы не разбудить никого, а Анфиса Ивановна мне и говорит:

— Шепотком не ходи. Я давно не сплю.

Вот тут я и ахнул от восторга, да с тех пор всю неделю каждое слово ее ловил, потому что в каждом слове ее — поэзия.

Не выспалась однажды Анфиса Ивановна, и вот уж тебе стихотворение в прозе:

— Комаришко один всю ночь надоедал: «Спишь?» — «Сплю». Только начну засыпать, опять: «Спишь?» — «Сплю». Да так всю ночь мы и переговаривались.

А что за прелесть рассказ ее о том, как она ездила на свадьбу к своему знаменитому сыну. И если я не привожу его здесь, то только по причинам интимности некоторых подробностей.

По складу своего характера, по мироощущению, по культуре Анфиса Ивановна, как большинство людей ее возраста, человек двух укладов: старого, вековечно-национального и нового, советского.

Советское — во всем: газеты и книги читает, всем на свете интересуется, в колхозе — с первого дня, и все военные и послевоенные тяготы деревни кто вынес? Анфиса Ивановна. А раннее вдовство, безотцовщина, колхозная работа за «палочки» — ничто не миновало Анфису Ивановну. И что же удивительного, что она — первый консультант сына-писателя по делам колхозной деревни. Но Анфиса Ивановна — живой справочник и по крестьянской жизни доколхозной поры.

Она наделена редкой памятью, в ней живет живой жизнью вся народно-поэтическая культура Севера, и Белов знает цену материнскому духовному молоку.

Наши матери, взращенные в условиях старой, патриархальной деревни, не очень владели книжной грамотой, но зато они на редкость хорошо владели другой грамотой — грамотой сердца и души. И Анфиса Ивановна из числа их.

— Мне уж не соврать. Из-за этого я к телефону не подхожу и к дверям на звонок. Надо говорить: дома нету, а как, ежели дома?

Для друзей сына — она мать. И до сих пор сокрушается, что накануне гибели Николая Рубцова недостаточно к нему внимательна была.

— Вечером идем с внучкой по улице, а он с той, с женой, стоит: снег пушистый, шарф красный откинут назад. Я внучке говорю: смотри-ка, Коля Рубцов стоит. А надо бы заговорить с ним, может, он со мной бы пошел и никакой беды не было.

Само собой, были у нас с Анфисой Ивановной и разговоры о ее прославленном сыне.

По словам Анфисы Ивановны, Белов с детства был особенный ребенок.

— Задумистый был. Редко играл в ребячьи игры, все больше один. Читает, что-нибудь делает, строит.

— А про то, что у нас самая молодая фамилия по волости, знаешь? — простодушно спросила однажды Анфиса Ивановна. — В детстве Ваня, отец Васи, белый был, как заяц. У него и прозвище Заяц было. И вот из-за своей белости и фамилию получил. Отцовская-то у него фамилия была Петров, а в школе то ли по оплошности учителя, то ли по его собственной обмолвке записали отца Василия Ивановича — Белов, да так мы и стали Беловы.

Ни на одной карте мира не помечена Тимониха. Но есть, есть такая деревенька на Вологодчине, и свет ее далеко-далеко расходится по Земле.

1982

МОЩЬ И ДЕРЗОСТЬ

О выставке произведений Евсея Моисеенко

Этого праздника ждали. Давно — вот уже добрых три десятилетия — работы художника Евсея Моисеенко стали украшением любой выставки, будь то зональная, республиканская, всесоюзная или международная. И все же то были, так сказать, отдельные деревья, а не целый лес, отдельные озера и реки, отдельные поля и холмы, а какова она, вся-то земля, в ее плодоносящей силе и многоцветии?

И вот персональная выставка.

Семьсот с лишним работ, созданных в основном за последние двадцать лет. Живопись и графика, тематические картины и портреты, пейзажи и натюрморты; героика и трагедия, лирика и эпос; земля и небо, революция и минувшая война, труд, детство... Огромный, неповторимо самобытный мир, сотворенный волею и талантом одного человека, мир самых разных измерений и самой разной географии, мир, клокочущий всеми страстями современности и наполненный напряженными раздумьями о прошлом, о будущем.

Поражаешься мастерству художника. Композиция у

него всегда дерзка и неожиданна, всегда вызов привычным канонам и схемам; условность, этот важный формообразующий элемент современной картины, — его вторая натура, и уж совершеннейшая, мало кому доступная виртуозность — рисунок, обладающий какой-то особой, взрывчатой силой.

Но я меньше всего намерен вдаваться в тайны профессионального мастерства и технологии — зачем отнимать хлеб у искусствоведов? Мне хочется поразмыслить немного о наиболее существенных чертах Моисеенко-художника. И тут в первую очередь я указал бы на масштабность его художнического мышления, на его гражданский темперамент.

Возьмем, к примеру, знаменитую картину «Земля». Сколько у нас было написано на эту тему всевозможных полотен! Сотни, тысячи. Больших и малых, с техникой и без техники, с хлебами и без хлебов, в солнечную погоду и ненастье.

Но вот появляется картина Моисеенко, и кажется, ничего и не было до нее. Кажется, и самую-то землю мы увидели впервые. А дотоле были некие раскрашенные агрономические пособия — как пахать землю, как убирать урожай, и т. д. и т. п. Тут же — земля-кормилица. Неистощимая, беспредельно могучая в своей черной плодоносящей силе. Да, земля-кормилица истинно русская — без конца, без края. И больше того. Взятая в каком-то невероятном сломе, она в то же время как бы и земной шар.

Понятно, что и фигуры трех пахарей на таком поле читаются по-особому. С одной стороны, они вполне конкретные, реальные работяги (да простят мне этот прочно вошедший в наш быт вульгаризм), насквозь пропотевшие, промазученные (колом стоит гимнастерка у курящего верзилы слева), по завязку хлебнувшие «радости» земледельческого труда, отмеченные не только признаками трудового человека нашего времени, но и какими-то еле уловимыми черточками, характерными для русского национального типа, а с другой стороны, подпираемые этим бескрайним, исполинским полем, они — великаны, богатыри.

Картина о земле, о ее людях стала эпосом. Эпосом по содержанию и по форме, предельно лаконичной и суровой, лишенной натуралистических подробностей.

По тем же законам — предельная конкретность и

широчайшая обобщенность на грани символа — построена и прославленная картина «Победа».

Опять же как тут не вспомнить косяки картин, живописующих это незабываемое событие! Праздничные фейерверки, шелк и бархат знамен, медь литавр, ликующие толпы людей на площадях...

У Моисеенко никакой ходульной, привычной романтики. Самый будничный, самый массовидный эпизод из войны — два солдата в момент боя на лестничной площадке, причем один из них, тяжело повисший на руках товарища, уже мертвый, сраженный, быть может, вражеской пулей в самую последнюю минуту... И цвет картины белесо-зеленоватый — цвет, вызывающий в памяти солдатскую гимнастерку, побелевшую от пота и соли.

— Да победа ли это? — помню, озадаченно перешептывался кое-кто из зрителей, всматриваясь в эту картину, на первой выставке.

Победа. Победа, которая ни на минуту не дает забыть о миллионах и миллионах убитых, о той страшной цене, которой оплачено наше торжество. Победа, где скульптурная, словно высеченная из камня фигура живого солдата поднята до значения монумента.

Видное место, если не сказать центральное, на выставке занимают картины, посвященные гражданской войне. «Красные пришли», «Товарищ», «Черешня», «Комиссар», «Вестник», «Нас водила молодость» — не меньше десятка крупных полотен.

Интерес к этой теме у художника давний, устойчивый, идущий из глубин далекого детства. Раз, еще ребенком, случилось ему быть свидетелем незабываемого зрелища — красный отряд проходил через их село, и надо ли говорить, какую бурю восторга вызвало это зрелище в душе впечатлительного мальчика!

Пожалуй, ни один другой цикл (а цикличность характерна для Моисеенко-художника) не отмечен такими настойчивыми поисками, как цикл работ о гражданской войне. Тут и непрестанные, из картины в картину, все новые и новые цветовые решения, тут и демонстрация самых невероятных возможностей рисунка, тут и дерзкое, безоглядное новаторство в композиции, когда в одну упряжку запряжены и рельефно-скульптурный объем, и бесплотная, почти призрачная плоскость, и жесткая плакатная графика; и самая изысканная декоративность, так что порой может показаться: да не

чисто ли формальными задачами занят художник? Не забывает ли он о содержательной стороне полотна?

Не забывает.

Евсей Моисеенко — формалист из формалистов. Конечно, в лучшем смысле этого слова. Но высшая цель его — содержание. И это особенно наглядно в цикле картин о гражданской войне.

Начав с восторженно-романтического, я бы сказал, традиционного восприятия гражданской войны, очень характерного для советской живописи, художник в дальнейшем берет разные грани и аспекты темы, в том числе бытовой, и, наконец, умудренный личным опытом и опытом исторического шестидесятилетия, подходит к созданию полотен, которые потрясают глубиной мысли, своим трагедийным накалом («Нас водила молодость»).

Вершиной цикла о гражданской войне, бесспорно, является картина «Речь». Это шедевр. Шедевр самого высокого класса, где — редкий случай в искусстве — идейный смысл находит полнейшее, адекватное выражение в форме.

Кольцевая, спиральная композиция, как бы вихрь, завинчивающий, закручивающий красноармейскую разрозненную массу в туго спрессованную, неодолимую силу, — случайна здесь она?

Да нет же, нет!

Слово, речь — самое действенное, самое грозное оружие революции (да и только ли революции?), и в картине с предметной, осязаемой наглядностью явлено это. Явлено слово как бы в своей безграничной материальной силе.

Я коснулся всего лишь нескольких картин, а их на выставке, как я уже говорил, сотни: пейзажи, и пейзажи своеобычные, моисеенковские, не всегда, быть может, броские, но по-русски сосредоточенные в себе, обладающие какой-то скрытой, притягательной силой; многочисленная серия картин, которую можно было бы назвать «Из страны детства»; цветастая, радужная россыпь полотен и этюдов, запечатлевших иные земли, иные языки: Среднюю Азию, священные камни Греции — этой праматери всей европейской цивилизации, знойную Испанию, и т. д. и т. п.

И все эти работы, как и многие другие в творчестве этого на редкость щедрого, разностороннего художника, скажем, его замечательные натюрморты или автопортреты, как бы единственные в своем роде, лишенные ма-

лейшего самолюбования, несущие даже снижение, с немалой дозой самоиронии, — все эти работы, я не сомневаюсь, станут предметом особого разговора, особого суждения. Мне же здесь хотелось бы сказать еще только об одной картине — «Сергей Есенин с дедом», картине сложной и на первый взгляд спорной, во всяком случае поначалу не принятой мною.

Хмурый, взъерошенный, погруженный в себя деревенский паренек — да что общего у него с песенным, картинно-слащавым Лелем, каким мы знаем отрока Есенина по фотографиям?

Но вот тут-то и вся мудрость художника, вся его прозорливость — он использует закон внешней непохожести для раскрытия внутренней, творческой энергии будущего поэта. А как быть с так называемой похожестью, с правдоподобием? Они даны опосредствованно, через фигуру рядом стоящего библейского деда и предельно достоверно выписанный вещный мир, который окружал в детстве Есенина.

Евсей Моисеенко — художник большой культуры. Само собой, что он глубоко освоил все богатства русской живописи, включая древнерусскую икону, композиционные приемы которой он особенно охотно использует в своем творчестве.

Есть у него и перекличка с отдельными художниками XX века, скажем, с Петровым-Водкиным. А пристрастия к отдельным школам, к отдельным направлениям?

Главное, что включает Евсея Моисеенко в ряд первоклассных мастеров русской отечественной живописи, — это насыщенность его полотен большим социальным и общечеловеческим содержанием в сочетании с высочайшим искусством формы.

И тут надо сказать еще об одной черте Моисеенко-художника, черте, которую Достоевский называл способностью русской души к глубокому пониманию национальных характеров других народов и восприятию их искусства.

Зарубежный цикл Моисеенко красноречиво подтверждает это. Но только ли зарубежный?

Творческое взаимодействие со всемирно известными мастерами прошлого и настоящего щедро дает себя знать и в его полотнах, так сказать, чисто русских. И это важнейший показатель силы и масштабности таланта Евсея Моисеенко.

Давно известно: художник — это биография. И, на-

до сказать, судьба не обделила Евсея Моисеенко биографией.

Раннее детство в деревне, широко открывшее врата в мир природы, заложившее, так сказать, самый надежный и ни с чем не сравнимый фундамент поэтического восприятия жизни, романтическая молодость, литературным евангелием которой была «Как закалялась сталь» Н. Островского, война... И опять-таки война в самом страшном варианте — с фашистским пленом...

Да, Моисеенко крутого замеса человек, он выварен в самых крутых щелоках эпохи. И не отсюда ли эта богатырская мощь его как художника, этот эпический размах его творчества?

Но сила Моисеенко — это и сознание своего долга перед погибшими товарищами. Сотни тысяч, миллионы его сверстников погибли на войне, и разве может он забыть об этом? Забыть о том, что он в вечном долгу у своего поколения?

Есть у Моисеенко картина «В мастерской». Рабочий день кончился, помещение залито серыми ленинградскими сумерками, кругом холсты, записанные, незаписанные, и среди них сам художник — усталый, совершенно измочаленный и опустошенный старик.

Не думаю, чтобы Моисеенко, вообще-то склонный, как я уже говорил, к снижению своего образа, тут слишком погрешил против истины. Нет, это естественное состояние художника после неистовой работы за мольбертом, после самосжигания себя в течение яростного дня, после «перекачки» на холст всей лавы обуревавших его чувств и мыслей.

Да, Евсей Моисеенко выкладывается сполна. Зато и полотна его, всегда до предела насыщенные цветом, современными ритмами, внутренней энергией, захватывают зрителя, как бы облучают его. Но это облучение энергией жизнелюбивой, животворной, рождающей в нас желание работать, жить.

1982

ХУДОЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ

Мариэтта Сергеевна Шагинян закончила свои земные дни.

Редкий случай, когда грешно сказать: не дожила, не доработала, не успела.

Мариэтта Сергеевна прожила громадную жизнь, написала баснословно много и, что называется, реализовала себя сполна.

И все-таки смерть ее — большое горе для всех нас: для писателей, для работников культуры, для миллионов читателей и телезрителей, которые еще недавно, в день ее 90-летия, с изумлением и восторгом смотрели телепередачу об этом чудо-человеке, живущем среди нас.

Да, чудо-человек. Человек-феномен, человек-уникум. И это неправда, что только эпоха Ренессанса порождала людей-универсалов, — Мариэтта Сергеевна из породы их.

Энциклопедически образованная, знавшая древние и новейшие языки, чувствовавшая себя своим человеком в старейших библиотеках Европы, она глубоко разбиралась в гуманитарных науках — философии, истории, социологии, филологии, политэкономии, но она знала толк и в физике, она была прекрасным экономистом. И что же удивительного, что львиная доля ее необъятного литературного наследия отмечена исследовательской мыслью! Монография о Гёте, докторская диссертация о Тарасе Шевченко, воспоминания о Рахманинове, этюды о Низами, работа о «Калевале»... Какая невероятная широта и любознательность! Какая масштабность мысли! А ее книга о выдающемся чешском композиторе Иозефе Мысливечеке!

Так ведь при этом я еще не назвал главного труда всей ее жизни — Ленинианы, которая и подавно от начала до конца выдержана в духе строжайшего исследования.

Писательская биография Мариэтты Сергеевны беспримерна. В сущности, это отражение русской литературы XX века в одном лице. Выступив со стихами (и незаурядными стихами) еще задолго до революции, она в дальнейшем накрепко связала свою судьбу с революцией, с жизнью и борьбой народа и с присущей ей энергией и одержимостью всегда и всюду была на переднем крае.

В короткой заметке невозможно перечислить все, что сделала Мариэтта Сергеевна в художественной литературе. Да и надо ли? Достаточно сказать, что ее «Гидроцентраль» стала одной из определяющих книг среди произведений, посвященных трудовой героике первых пятилеток. Поражает высочайший профессионализм,

беспримерная многогранность ее литературного таланта — качество, которого, увы, так многим из нас не хватает сегодня.

Поэт, драматург, романист, новеллист, эссеист, мемуарист, публицист, «детективщик» (если можно так выразиться) — все, буквально все жанры были покорны ее перу.

Как человек Мариэтта Сергеевна стала легендой еще при жизни. Все необычайно было в этой женщине: ее неистовая, прямо-таки фантастическая работоспособность (последнюю книгу она дописала после 90 лет, уже почти совсем слепая), ее непомерная, опять-таки, можно сказать, беспрецедентная любовь и жадность к жизни, ее всем известные прямота, бесстрашие и аскетизм в быту.

Никогда не забуду, как года три назад по приглашению Мариэтты Сергеевны я заявился к ней домой. Я-то представлял себе — в сказочных хоромах живет такая знаменитость. А тут смотрю: двухкомнатная квартирка на первом этаже с полуоткрытой дверью (Мариэтта Сергеевна страдала глухотой), так что с улицы, минуя тесную прихожую, попадаешь прямо в кабинет, сплошь заваленный книгами и папками. И никакой прислуги. Сама, девяностолетняя старуха, стала за газовую плиту, чтобы схлопотать ужин.

Признаюсь, я поперворсти не знал, что и подумать. От недосмотра близких такая скромность в быту? От тщеславия, от гордыни, наконец?

От принципиальности.

Мариэтта Сергеевна всем сердцем, всей душой восприняла веру и романтику Октября и оставалась верной им во всем: в работе, в отношениях с людьми, в быту. И не только оставалась верной сама, а пламенно, словом своим, примером своим внедряла их в жизнь.

1982

III

О страсти, о душевной [illegible]

Речь идет о сердце

в [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] к [illegible],

[illegible], не [illegible]

не верят ([illegible]),

[illegible] [illegible]

Сила [illegible] [illegible] [illegible]

и [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] и [illegible]

и [illegible].

[illegible].

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Врачи, вступающие в свою должность, дают Гиппократову клятву. Хорошо бы и для литераторов ввести подобную клятву. Писать правду, только правду и ничего больше, во все времена, в любом состоянии — и в славе и в нищете.

В основе всей мировой литературы и, конечно, фольклора — тема борьбы добра и зла. Да и как возможно иначе? Ведь вся история человечества — это, в сущности, история борьбы за торжество добра. Только у разных рас, у разных народов разными путями. В этом я еще раз убедился, прочитав две старинные японские повести.

Да, магистральная тема литературы (любой, в любые времена!) — утверждение добра на Земле, воспитание его в человеке. И только на этом пути может быть обеспечена произведению долговечность.

Сотвори мир в душе и пошли его людям.

Последние слова Александра Яшина: Пишут, пишут... А все сводится к четырем словам: Жизнь. Смерть. Правда. Ложь.

Столбовая дорога человечества сплошь заставлена крестами, на которых распяты его пророки.

Нравственный кислород для человека не менее важен, чем кислород природный.

Во всем находить красоту. Лечись красотой.

В Японии мастер передает свою фамилию лучшему ученику (даже при наличии детей). Если ученик не достиг полного совершенства учителя, то учитель передает ему только часть своей фамилии.

Великого мастера в его квартале знают все. И называют его по имени.

ИЗ НРАВСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДЕЙ ЯПОНЦА

Правду можно увидеть только мудрыми глазами.

В самое тяжелое время, в самых тяжелых ситуациях беремся за дело с улыбкой.

Чем понапрасну проклинать темноту (тьму), лучше зажги одну свечу.

Одна искра зажигает поле.

Способность к учебе у других народов, вероятно, одно из самых главных достоинств любой нации.

Русские слова по сравнению, скажем, с английскими необычайно длинные. Не отразились ли в них по-своему просторы, масштабы России?

Еще неясно, в здоровом ли теле здоровый дух, или наоборот — высокий дух рождает здоровье.

Его любят вещи: костюм, галстук, ботинки — все радуются тому, что они обслуживают его. Счастливые вещи. Взаимная любовь.

Нужно иметь столько вещей, сколько ты можешь любить. То есть окружать их вниманием и заботой. Только тогда вещи ответят тебе взаимностью, будут любить тебя, доставлять радость.

Судак. Поразило каменное безмолвие развалин. Сколько было сражений, схваток, борьбы. Сколько людей прошлого прошло по этой скале, со своими радостями и горестями. А что осталось? Почти ничего. Даже следы трудов выветрило время.

Вот здесь познаешь трагедию бытия. От человека и даже от человечества ничего не остается. В чем же смысл и цель бытия? Вечный безответный вопрос. Начинаешь понимать, почему человечество создало бога.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Может быть, только время победит жизнь. Время — самая могучая сила на свете.

Самое трудное — увидеть вещи, события, людей в их истинном свете, без прикрас, без иллюзий, без ожесточения.

Надо быть не правдоискателем, а правдоустроителем.

Нельзя научить истине, ибо до истины каждый доходит сам.

Если люди научатся чувствовать и мыслить справедливо, то они тем самым помогут оздоровлению мира.

Есть три грамоты: грамота ума, грамота инстинкта и грамота сердца.

Молитва нужна не богу, а самим людям. В молитве — самоочищение, настрой души на работу, на подвиг, на терпение.

Путь не меньшее счастье, чем цель.

Человечество, чтобы отбросить ложную теорию, должно пролить реки крови.
И чем обворожительнее эта истина, тем дороже расплата.

Народ — жертва зла. Но он же опора зла, а значит, и творец или по крайней мере питательная почва зла.

Может быть, главное в жизни даже не то, что мы делаем, а то, как делаем — сколько любви, души, добра, чистоты вкладываем в содеянное.

БЕРЕЗА БЕЛАЯ

Кто только не слюнявит про березку, не воспевает ее, не клянется ей в любви — в стихах, в прозе, с эстрады, по радио, по телевизору. Да я и сам не раз настраивал свою балалайку на этот лад, а сейчас я лютой ненавистью ненавижу березу. Потому что она — стыд и позор русской земли, потому что этот песенный образ родины превратился нашими стараниями в проклятие страны. Вся коренная Россия, все так называемое Нечерноземье захламлено белой березой. Ей дана — опять-таки нашими стараниями — зеленая улица.
Война, война на смерть, на уничтожение — вот что должно быть объявлено березе сегодня.

Рай придумали бездельники.
Сидеть сиднем целыми днями под райскими кущами да лопать сладкие яблочки — да разве это блаженство? Это же наказание хуже каторги.

Как жить? С ощущением последнего дня и всегда с ощущением вечности.

Жить в ладу с собой, со своей совестью — не в этом ли самое большое счастье?

Работа, работа... Есть ли бо̀льшая радость на Земле? И наработаюсь ли досыта?

УСЛУЖЛИВОСТЬ

А. — добрый, услужливый человек. Последнее слово у нас считается предосудительным. А почему? Что плохого в том, что человек оказывает услуги другим?

Мой брат Михаил был из услужливых людей (за что, кстати, его всегда порицала его жена), но разве услужливость не одна из главных его добродетелей, за которые я его ценю и люблю поныне?

ПОЭЗИЯ СЛАВЯНСКИХ НАЗВАНИЙ

На Севере родился, на Севере вырос, предки мои корнями своими уходят в века истории Севера, а не греют мне сердце Пинега, Сямженьга, Хорса, Кушкопала, Шардонемь...

На Новгородчине название каждого села, каждой речонки приводило меня в восторг: Толкани, Яжелбицы, Валдайка, Туры... Знать, и вправду мои предки пришли на Пинегу с Новгородской земли.

ДУХ ПРАРОДИНЫ (ПРАРОДИНА)

Вырос на Севере и я, и мои отцы, деды. И уж, казалось бы, такие названия, как Хорса, где ходил босиком... должны ласкать твой слух.

А во мне все задрожало, когда я первый раз оказался на Новгородчине да услыхал названия... И тут я понял: это моя прародина.

Или так: сколько я читал и слышал: от новгородцев мы... А все ничего. Разве слово «шелонь» волнует.

ОТНОШЕНИЕ К РОДИНЕ В ДЕТСТВЕ

Несчастьем считал, что родился в захолустье.

Возненавидел сосну. Лесозаготовки — каторга. Грезил о юге, о пальмах.

Впоследствии взгляд у меня коренным образом изменился. Юг не понравился. Лежбища. Жара. Голо. Колюче. И любовь к сосне. Но поздно. Сосны на Пинеге нет. Мутовок полно. Но ни одного соснового бора. Хотя бы один бор оставили для демонстрации... Не оставили. Под видом санитарной рубки раздели всю Пинегу.

Меня как писателя умоляют вступиться за северные леса (бывшие лесники). Но что я могу сделать? Кто послушает?

Искусство сродни первозданным стихиям. Это — исполинские аккумуляторы, к которым подключается человек. Подключается, чтобы зарядиться их энергией, красотой.

Гений — это нация в одном лице.

Все великое в искусстве в единственном числе.

Слово у большого художника мохнатое.

Подлинная красота — сама по себе идея.

САРДАРАБАДСКИЙ МЕМОРИАЛ

Жара — асфальт плавится, голый, выжженный холм, солнце раскаленной лавой льется на голову...

Вышел из такси и с тоской думаю: все, конец, не выдержу.

Но вот что такое истинное искусство! Нет жары, нет солнца. Радостная, освежающая волна, будто само Черное море, хлынула на меня, едва я поднялся на холм, — от каменных быков из красного туфа, от звонницы, от орлов — стражей Армении, от стены с былинным конем и еще какими-то символическими фигурами... А когда я добрался до храма из нежно-розового, сиреневого туфа, где разместился этнографический музей Армении, ожил и душою: такая чистота, такая умиротворяющая гармония исходила от него...

Народная песня в музыкальной обработке для наших хоров мне часто напоминает подстриженное дерево.

Писатель измеряется коэффициентом полезного действия его слова.

В искусстве превзойти великих можно только с их помощью.

Хорошая книга — это ручеек, по которому в человеческую душу втекает добро.

Труд писателя. Написал страничку за день, потом прочел, перечеркнул эту страничку и счастлив: хорошо поработалось.

Искусство — это молитва.

Талант — это способность к самоограничению.

Писатель должен быть не столько словотворцем, сколько словодобытчиком.

Сегодня самый универсальный язык, на котором могут разговаривать люди всей планеты, — искусство.

Истинная любовь питается ненавистью. Или наоборот: отрицание, сатира без истинной любви — дешевое критиканство и зубоскальство на уровне фельетона.

Памятники искусства и культуры — это огромные генераторы духовной энергии, которая вложена в них создателями их, а также людьми, которые на протяжении столетий им поклоняются.

Разрушая памятники, вы убиваете самое ценное на Земле — духовную энергию народа, аккумулированную в памятниках.

ПЕТР ФОМИН — ХУДОЖНИК

Картинка с рукавицу. А на картинке что?

Какой-то стожок сенца, возле сенца коровка, осенняя отава кругом и бирюзово-фиолетовые дали. Простенько. Этюдик. Да, может, и в самом деле этюдик. Минутный.

А для меня бесценное сокровище. Вся Россия тут. И прошлая, и настоящая, и будущая. Да, да. Никаких машин, ничего другого. Патриархальщина в голом виде, кто-то даже скажет еще больше: сусальная пастораль. А для меня тут вся душа, вся поэзия России.

Писатели должны принять на себя все муки, сомнения и нравственные заботы современного человека.

Художник должен быть одновременно и грешником и святым.

Самая великая сила на Земле — мысль человеческая.

ВОЛЕИЗЛУЧЕНИЕ

Мы привыкли учитывать самые разнообразные виды энергии.

Но волеизлучение, энергия, исходящая от человека, до сих пор не принимается в расчет, до сих пор не включена ни в один энергетический баланс. А между тем это самая удивительная, самая животворная энергия на земле, способная творить чудеса. Чудеса в самом прямом смысле.

И при этом что удивительно! Волеизлучение — это всего лишь одна из разновидностей духовной энергии.

Писателю необходимо время от времени тяжело болеть, попадать в больницу. Чтобы не умом, шкурой почувствовать страдания людей.

Разоблачение надо, без разоблачения нельзя, но избави боже быть одним из делателей разоблачительной литературы! Разоблачительная литература — литература мелкая по своей сути. Вот что надо раз навсегда усвоить.

Истинный большой поэт всегда трагичен. Трагедия лежит в самой сути великого искусства.

Главное — написать. Главное — докопаться до истины.

Настоящее искусство очищает и возвышает, поднимает над повседневностью.

Посмотрел телефильм о Верди. Великолепная музыка. И идея (хотя и не новая) трогает: все в искусстве из страдания.

Поэт, писатель от всех прочих отличается одним — силой любви. Любовь — источник поэзии, источник добра и ненависти. Любовь дает силы бороться за правду, переносить все лишения, связанные со званием писателя.

Одно из главных назначений писателя — поддерживать в духовной форме свой народ.

Мы все взываем к человечности, но как часто нам некогда быть человеком. Мы все делаем ради человечности, ради того, чтобы другие стали человечнее, но самим-то нам, замотанным, задерганным, утопающим в делах, в суетности, некогда быть человечными.

И мы становимся человечными лишь в годину утрат, потрясений, тяжких болезней, смерти близких людей. И все эти болезни, смерти, утраты не существуют ли для того, чтобы время от времени возвращать нас к человечности, чтобы мы не забывали своего истинного звания?

Писать — значит творить добро.

Север не бросок. Красота его не поражает с первого взгляда. Ее надо разглядеть. У северян потаенная, скрытая красота, но именно эта красота и покоряет навсегда.

О ДУШЕВНОЙ РАБОТЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

С давних пор существуют два способа перестройки и улучшения жизни: путь социальных реформ и путь нравственного самовоспитания, нравственного самоусовершенствования, которое так усиленно и страстно проповедовал Лев Толстой.

К нравственному учению Л. Толстого у нас долгое время было негативное, отрицательное отношение. Но исторический опыт показал, что одними социальными средствами невозможно обновить жизнь, достигнуть желаемых результатов.

Нужен одновременно второй способ. Это самовоспитание, строительство своей души, своего отношения к миру, иными словами, каждодневное самоочищение, самокритика, самопроверка своих деяний и желаний высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести.

Совесть — это как раз та сила, которая должна выводить человека из равнодушия, сдирать с него коросту эгоизма, пробуждать в нем чувство ответственности за все, что происходит вокруг.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 5664

Абрамов Федор Александрович

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ И ХЛЕБЕ ДУХОВНОМ

Заведующий редакцией **Л. Антипина**
Редактор **И. Аксенова**
Рецензент **А. Турков**
Художественный редактор **А. Косаргин**
Технический редактор **Е. Брауде**
Корректор **Г. Басилева**

Сдано в набор 08.01.88. Подписано в печать 14.03.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,92 + + 0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 11,76. Учетно-изд. л. 12,4. Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб. Зак. 3009.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, Сущевская. 21.

ISBN 5-235-00111-7